
Весна
гения

СТЕФАН ПРОДЕВ • *ВЕСНА ГЕНИЯ*



ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СТЕФАН ПРОДЕВ

ВЕСНА ГЕНИЯ

Опыт литературного портрета

2-е издание

Москва 1970

3К16
П78

Перевод с болгарского
Б. Диденко,
А. Кореньковой

●

Редактор
И. Баширова

●

Художник
Н. Симагин

К СОВЕТСКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

Счастлив, что моя книга о жизни молодого Энгельса — в руках советского читателя. Для меня, болгарина, это нечто большее, чем обыкновенное литературное событие. Для меня это — еще одно скромное, но волнующее проявление нашей животворной дружбы.

Работа над книгой о Фреде была долгой, трудной, но приятной. Думаю, что так бывает всегда, когда надо вжиться в образ прошлого. Именно вжиться, а не реставрировать его. Прошли времена, когда у некоторых наших пропагандистов был вкус к иконам. Они канонизировали великие личности, очищая их от всего земного. Превращали их в святых, в некие полубожества, перед которыми следовало возжигать свечи и которым надо

было приносить жертвы. Именно тогда-то и возникла у меня идея написать эту книгу. Я избрал Энгельса. Бессмертного друга Маркса. Того, который звал бороться за свободу, пока молоды и полны огненной силы...

Жизнь юного Энгельса необычайно сложна, богата и поучительна. Ее нельзя объяснить готовыми шаблонами и примитивными схемами. Это обязывало меня многое познать и понять правильно. Так родилась не совсем обычная форма и не совсем обычный стиль книги.

Буду искренне рад, если книга взволнует и советского читателя, если этот читатель найдет в книге такую мысль или такой образ, которые послужили бы для него примером в жизни.

Стефан Продев

София, 20 июля 1965 г.

Пролог

Клио — тоже муза...

Аристотель

В ТО РАННЕЕ утро океан казался особенно величественным и грозным. Из неведомого далека катил он свои могучие и страшные валы. Глядя с высоты черных истборнских скал на кипящий внизу безбрежный котел, в сознании невольно возникала мифическая картина сотворения мира. Великая водная стихия, вздыбленная порывистым северным ветром, силилась взметнуться к поднебесью. Каждой соленой каплей, новым грохочущим валом, взлетавшим все выше и выше, океан словно хотел слиться с воздушным соперником...

В то штормовое утро истборнские рыбаки увидели на берегу группу незнакомых людей — несколько строго одетых господ, и среди них — единственную даму, закутанную в черную пелерину. Плотно прижавшись друг к другу, они молча всматривались вдаль. Проходившие мимо бедные сыны моря почтительно сняли зюйдвестки,— так потрясло их скорбное выражение лиц незнакомцев. Таинственные чужестранцы походили на людей, переживших огромное горе. Их согбенные силуэты, вырисовывавшиеся над самым краем адской бездны, выражали глубочайшую скорбь, необъятную, как океан.

Женщина в черном, обернувшись к молчаливым спутникам, проговорила:

— Пора, друзья...

Мужчины сняли цилиндры. Один из них вышел вперед, дрожащей рукой поднял крышку небольшой урны и перевернул ее. Из урны вылетело легкое облачко белесоватого пепла. Ветер взметнул его ввысь и рассыпал по кипящим гребням волн. В мгно-

вение ока пепел слился с волнами океана, с мириадами его живых капель.

— Прощай, Фред! — прошептал мужчина с урной.

— Прощай, генерал! — вскинув над океаном белую руку, глухо произнесла женщина.

Кто-то из стоявших с ней рядом напевно продекламировал строку из Данте: «Всюду буду следовать за твоим духом богатырским...»

Старые рыбаки, оказавшиеся неподалеку, с уважением склонили головы. Они не ведали, кто были эти люди, но почувствовали их горе. Они видели белесоватое облачко, подхваченное штормом, облачко, показавшееся им не то тенью невиданной птицы, не то отлетевшей душой. Впервые в жизни седовласые старцы присутствовали при столь странном погребении: без молитв, без гроба... Впервые они стали свидетелями такого чистого, скромного расставания.

Постояв несколько минут, незнакомцы молча повернулись и направились на юг, в сторону приземистых каменных зданий Истборна. Величественный океан провожал их ревом и грохотом. Когда группа подошла к острому ребру скалы, за которой приютился рыбацкий поселок, женщина остановилась и повернулась к океану. Ветер распахнул ее пелерину. Рядом с дамой встал мужчина с урной. Прижавшись друг к другу, они долго смотрели на север, туда, где продолжали неистовствовать две стихии, где материя утверждала свое могущество.

Элеонора Маркс-Эвелинг и Поль Лафарг в последний раз окинули взглядом безбрежную даль океана. В его безднах они только что похоронили

прах дорогого друга, одного из гениальнейших мыслителей, прах Фридриха Энгельса.

Друзья исполнили последнюю волю солдата революции, Гражданина мира.

Женщина и мужчина, задыхавшиеся от порывов злого северного ветра, долго не могли оторвать глаз от черного обрыва истборнского берега. Каждый удар волны напоминал им о бессмертии благородного сердца, прах которого несли на своих плечах в открытый океан несметные валы. Над могилой Энгельса вздымались гигантские водяные хребты, из-за которых величаво поднимался огненный диск солнца.

Над Англией занимался новый день. Один из первых дней осени 1895 года...

* * *

Семьюдесятью пятью годами ранее, считая с той печальной осени, утром 29 ноября 1820 года, церковные колокола в старинном германском городе Бармене звонили с особым торжеством. Их многоголосый перезвон весело полетел над островерхими готическими крышами, спугнув дремавших голубей, почти до самого края Вуппертальской долины. Широко известный торговый центр — город «зеленых дворян» [1] — был взволнован: накануне вечером, ровно в 9 часов, супруга видного городского фабриканта Фридриха Энгельса фрау Елизавета ван Хаар родила

[1] «Зеленые дворяне» — молодые купчики, сынки капиталистов из Бармена.

мальчика. Новость молниеносно промчалась по улицам, постучалась во все двери, заглянула в пивные. Она вывела людей на тротуары, собрала их в группы. Женщины шумно судачили о родовых муках благочестивой роженицы, мужчины рассуждали о счастье и богатстве господина Фридриха...

Появление наследника у Энгельса было большим событием для Бармена — фирма «Гаспар Энгельс и сыновья» считалась столпом молодой вуппертальской промышленности. Не случайно один из представителей городской общины, уважаемый господин Вильгельмхаузен, почел долгом лично осведомиться о здоровье младенца и распорядился отслужить благодарственный молебен в нижнебарменской церкви. Здесь, на этой земле, сын господина должен быть и встречен, как господин.

В торговой конторе Энгельсов было шумно и душно. Сюда собрались почти все вуппертальские фабриканты, торговцы — вся знать долины. Они явились, чтобы поздравить «le grand capitaliste». Некоторые гости так спешили, что даже не успели отряхнуть с костюмов дорожную пыль. Они подымали бокалы, наполненные терпким рейнским вином, и с пафосом провозглашали тосты: «Пусть наследник будет силен, как Зигфрид!», «Славен, как Цезарь!», «Пусть он унаследует доброту фрау Элизы и ум отца!», «Да здравствует...»

— Господа!— как всегда, властно прозвучал голос господина Энгельса (отныне его стали называть Фридрихом Энгельсом-старшим).— Благодарю за

добрые пожелания. Пусть их услышит наш всемогущий бог. Позвольте и мне поднять бокал за моего первенца, за моего Фридриха, как я уже решил наречь его. Я хочу, чтобы он стал истинным вуппертальским господином — мудрым хозяином на фабрике и львом в торговых делах. Желаю, господа, чтобы сын умножил славу и богатство фирмы «Энгельс». Мой сын будет носить имя короля Фридриха Великого. Да осенит наследника его гений!

Неожиданно распахнулись конторские двери. С улицы ворвался веселый гомон толпы и колокольный звон. Барменцы шумели так, словно в городе и в самом деле родился один из будущих королей Германии.

А «король» крепко спал под белоснежным балдахином колыбели. Временами он улыбался во сне, будто вслушиваясь в колокольную песнь. Рядом на широкой семейной постели лежала измученная фрау Элиза. Прикрыв веки, она тоже думала о будущем сына. Мать видела его либо в профессорской тоге, либо в плаще поэта. Она и не подозревала о грубоватых планах мужа. Фрау Элиза еще не знала, что ее сын уже носит имя Фридриха Великого. В душе она давно, очень давно окрестила его Иоганном, именем любимого Гете...

Ни тосты отца, ни мечты матери не смущали первого земного сна ребенка. Он тихо посапывал, обласканный случайным бледным лучом осеннего солнца. Может быть, в тот час он вслушивался в таинственный голос своей судьбы, незримой тенью склонившейся над его колыбелью? Может быть, он видел и свое будущее — начало борьбы, которая

воздвигнет сотни баррикад, порвет много тяжких цепей? Может быть, он видел и сияющую истину той идеи, которая превратит его, сына капиталиста, в разрушителя того, что создавал отец?

Так в обычный осенний день 1820 года начиналась история еще одной жизни. Никто и не подозревал тогда, что самый юный гражданин Бармена свяжет свою судьбу с рождением новой эпохи...

Эпоха

Человек — дитя своего времени. Что рождается вокруг него, что вдохновляет его,— тем он и станет...

Генрих Гейне

В ТО ВРЕМЯ, когда над Вуппертальской долиной благовестили колокола Бармена, в Троппау заседал второй конгресс Священного союза. Австрийский канцлер Меттерних, забыв об этикете, стремительно вошел в зал заседаний и хрипло проговорил:

— Ваши величества, три курьера императора Франца еле переводят дух от бешеного галопа. Они принесли нам дурные вести: в Италии — беспорядки, в Греции — заговоры, в Испании — сражения. Мы здесь заседаем, а революция шагает по Европе...

Революция?.. Разом смолк скрип секретарских перьев. Могущественные монархи мира устремили растерянные взгляды на сухощавую фигуру взволнованного канцлера. Как, революция еще жива?.. Зал замер в тревожном ожидании, словно вместе с Меттернихом сюда ворвались и раскаты ее грома.

Тишина, неожиданно наступившая в зале, вдруг рассыпалась на тысячи звенящих осколков. Певучий голос испуганно спросил по-французски:

— Неужели после тридцатого марта тысяча восемьсот четырнадцатого года [1] революция где-нибудь еще существует?..

Выслушав странный вопрос Людовика XVIII, печального рыцаря Реставрации [2], Меттерних лишь всплеснул руками. Неунывающий Франц носовым платком прикрыл ехидную усмешку. Нервно звякнул

[1] День капитуляции Наполеона.

[2] Восстановление свергнутой революцией династии Бурбонов во Франции 1815—1830 годов.

шпорами Фридрих Вильгельм III. Александр I, прозванный галантным медведем, отрывисто произнес:

— Это так, монсеньор! Не будем наивными...

«Белый император» сказал правду. Несмотря на кажущееся умиротворяющее спокойствие далекой осени 1820 года, революция продолжала жить. Хотя и не слишком громко, но ее бетховенские аккорды настойчиво стучались в двери старого континента, Реставрация была не в силах раз и навсегда покончить с ней. Сюда, в Троппау, великие императоры собрались для того, чтобы решить, как встретить революцию...

Первенец господина Энгельса-старшего родился в тот самый момент, когда Европа снова почувствовала порывы революционного вихря. Барменские колокола славили появление Фреда на земле, а набаты в Мадриде, Неаполе, Пьемонте призывали к восстаниям. Против Священного союза тронов во мраке террора рождался Великий союз народов.

Приближалась буря.

Наступал год 1830-й.

* * *

Юный Фридрих начал жизненный путь в антракте между двумя революциями. Первое действие — 1789 год — закончилось давно. Предстояло второе — год 1830-й. Окровавленная гильотина где-то ржавела до поры. Теперь история была у порога баррикад на улице Сен-Дени.

В антракте один из честолюбивых поручиков успел стать императором. Кости трех миллионов французов выстлали путь Бонапарта от казармы артиллеристов до трона французских королей. Дело великой революции было поругано. Республиканским идеям пришлось отступить перед барабанным боем империи.

Но антракт слишком затянулся, а император «устал» от побед. Несмотря на гениально организованное сопротивление в трехдневной битве под Лейпцигом, Париж оккупировали армии европейских держав. Триумфальные победы завершились позором заточения. Остров Святой Елены и шинель рядового гренадера — все, что осталось от империи...

Войны, начатые Наполеоном, продолжались за столом Священного союза. Наступали годы Реставрации — последняя попытка феодальной аристократии повернуть вспять колесо истории. Но — увы! — солдаты Наполеона, эти мирные французские крестьяне, одетые в военные мундиры, не только завоевали Европу. Они совершили нечто большее. Вместе с походной пылью и боевой славой наполеоновские гренадеры оставили в наследство европейским народам и те свободолюбивые идеи, которые в дни Республики привели Францию к возрождению.

Реставрация, снова столкнувшаяся с этими идеями, почувствовала себя бессильной. Против нее стояло будущее.

Пятнадцать лет Реставрации измучили народы Европы. Но то, что народилось, не желало умирать. Мечта Меттерниха — обмануть законы развития, напялить на XIX век проржавевшие доспехи средневе-

ковья — оказалась бесплодной. Европа, перешагнувшая через феодальную ограду, не хотела возвращаться назад. Она уже слушала Вольтера, читала Руссо. Европа видела короля, стоявшего на коленях под ножом гильотины. Она распевала «Марсельезу». С ней был гений Гегеля. И пожалуй, самое важное — человечество уже широко пользовалось изобретением Уатта. Его огнедышащий демон совершил революцию в сознании людей.

Паровая машина, несмотря на свою примитивность, навеки похоронила иллюзии феодальной аристократии. Она завоевывала города, подчиняла себе производство, меняла мировоззрение эпохи. Каждая ее трансмиссия помогала революции больше, чем любой артиллерийский полк наполеоновской армии. Там, где начинала дымить заводская труба, железная метла прогресса выметала и феодализм, и феодальные поземельные повинности, и аристократические привилегии. Его величество Пар провозглашал власть ростовщика, ипотеки капитала. Никто и ничто не могло остановить марш жизни. Даже изощренный ум Меттерниха и окровавленный штык Александра I не в силах были предотвратить неизбежное.

История делала еще шаг вперед.

А это — главное.

* * *

— Папа, газеты!.. Есть и французские. «Либерасьон», «Насиональ», «Газетт де Франс». Папа!..

Эхо изо всех углов повторяло звонкий голос маленького Фреда. Он старался подражать выкрикам

барменских газетчиков. Мальчик перебегал из комнаты в комнату, довольный своей ролью. Он искал отца.

— «Барменский вестник», «Сельский вестник»!.. Папа!..

Влетев в одну из мрачноватых комнат верхнего этажа, в которую никогда не проникало солнце, Фред уткнулся головой в живот господина Энгельса, шедшего навстречу с подсвечником в руках. Отец пошатнулся от неожиданного удара.

— Папа, почта!..

Несколько минут спустя Энгельс-отец, усевшись в кресло, просматривал одну газету за другой. Фред, стоявший рядом, с любопытством разглядывал смешные карикатуры в «Газетт де Франс». Постепенно лицо фабриканта мрачнело. Потом его исказила гримаса, похожая и на гнев, и на тревогу. Вдруг, скомкав газеты и швырнув их за дверь, господин Энгельс вскрикнул:

— Безбожники!..

Голос фабриканта прогремел, как выстрел мортиры. Схватив цилиндр, он стремительно сбежал вниз по лестнице. Фред сообразил: только газеты, конечно, могли так рассердить отца. Мальчик с опаской склонился над газетным комком, поднял его и расправил одну из газет. Перед его глазами выстроились крупные черные буквы. Десятилетний мальчуган на чистом французском языке медленно читал вслух: «Насиональ. 30 июля 1830 года». И ниже: «Мятежи в Париже. Карл X отрекся. Баррикады на Сен-Дени и на улице Шом. Великая битва началась...»

Лицо Фреда засветилось:

— О, там дерутся... Это чудесно! Да здравствует, да здравствует Париж!..

Фридрих был еще очень мал, чтобы понять, кого и почему надо приветствовать. Где-то сражались. Для мальчугана его возраста одного этого было предостаточно. Фред и не подозревал, что его восторженный возглас прозвучал, как «прощай» концу сорокалетнего антракта, как приветствие началу так запаздывавшего «второго действия»...

Пламя, вспыхнувшее над Парижем в 1830 году, потрясло только мальчишек. Вся Европа давно была подготовлена к этому. Народы ждали сигнала так же, как ждут зарю после долгой мучительной ночи. Общественное сознание находилось во взбудораженном состоянии. Мятежные мотивы вспыхивали то в песнях Беранже, то сквозили на литографиях Жерико. Революционные мотивы экзальтировали парижские кафе, когда Гюго читал там свое «Письмо к молодой Франции». Эти же мотивы смешили толпу, когда великий актер Фредерик Леметр выступал в роли Робера Макера[1]. Безжалостная сатира, появлявшаяся на газетных страницах, превращала бумагу в ежовую шкуру. Страсти были накалены так, что улица безбоязненно освистывала гусарские эскадроны. Даже воздух был заряжен динамитом. Не хватало искры. Нужен был малейший толчок, чтобы все полетело к чертям.

Толчок произошел 25 июля 1830 года, когда Карл X подписал в Сент-Клу указ, практически от-

[1] Популярный герой мелодрамы «Корчма Адрос».

менивший конституцию. Чаша терпения переполнилась. В тот самый миг, когда король выводил кренделек своей замысловатой подписи под последним указом дворянской монархии, на Париж обрушился ливень. Голубые молнии облизывали свинцовые крыши, разбрызгивая зловещее сияние над их ломаными линиями. Когда король закручивал кренделек своей подписи, рядом ударила молния — король вздрогнул, и кренделек покрыла клякса.

Но самое страшное случилось через пять дней. На этот раз молчало небо, но грохотал Париж. Тишина покинула Францию. Улицы покрылись баррикадами. Всю неделю шли кровопролитные сражения. Самопожертвование сотен героев обессмертило июльские дни.

Восставшие победили.

Под покровом ночи Карл X бежал из Франции. Скрылся он так же незаметно, как скрывается вор, ограбивший квартиру. Его черная карета, пылившая по дорогам, смахивала на катафалк, везший политический труп — короля без короны и власти. Со сцены сходил последний живой призрак Реставрации. Феодальная аристократия переселялась в толстые тома истории.

Париж ликовал.

Ликовала вся просвещенная Европа.

Однако ликование слишком быстро сменилось разочарованием. Как и в 1800 году, народ-победитель оказался обманутым. Его перехитрила буржуазия. Вместо политических и социальных свобод ему преподнесли новые цепи, вместо республики — нового короля. Но самое страшное заключалось в том, что

этот король был не глупым реставратором, а опасным банкиром. На троне воссел Луи Филипп — коронованный Робер Макер.

Монархия дворян уступила место монархии крупных банкиров. Не случайно либеральствовавший финансовый магнат Лафит встретил «короля баррикад», как народ окрестил Луи Филиппа, циничными словами: «Отныне господствовать будут банкиры». Как писал К. Маркс, Лафит выдал тайну революции.

Страшную тайну обмана.

Очень скоро баррикады стали ненужными. Их быстро разобрали, чтобы расчистить дорогу новому королю. Начиналась эпоха Июльской монархии, акционерной компании по эксплуатации национального богатства Франции, как выразился Карл Маркс, которая создала роковую пропасть между французским капитализмом и французским пролетариатом.

Начиналась одна из драм буржуазной Франции.

1830 год обманул надежды демократической Европы. Но предательство не могло успокоить бурю. Собратья Гавроша жаждали возмездия. Оно близилось. Вместе с ними росла и набирала силы новая революция. К 1848 году гавроши возмужали. Наступала пора, когда надо было снова приниматься за дело.

* * *

«Электрические удары» прогрохотали в 1830 году, когда Фреду исполнилось десять лет. Год от года мужала революция. Год от года мужал и Фред. Нередко, когда семья справляла день рождения сына, над Европой гремела революционная канонада.

Год 1831-й. Когда Фридриху Энгельсу-младшему преподносили традиционный шоколадный торт, на котором горело одиннадцать свечей, вспышки выстрелов над баррикадами Лиона озаряли мрачное небо над городом. Один из старейших промышленных центров вписывал в историю Европы первые страницы эпопеи вооруженной борьбы пролетариата. На этот раз на баррикадах не было ни бакалейщиков, ни торговцев. Боролись рабочие. Против стареньких байонетов, против ломов и булыжников была двинута королевская артиллерия. Маршал Сульт командует: «Огонь!» Лион отвечает: «Бей!» На ультиматум, предъявленный орлеанским герцогом, восставшие провозглашают: «Жить, работая, или умереть, сражаясь!» И лионский пролетариат не отступил. Не сдался...

Год 1832-й. Фред двенадцать раз целует счастливую мать — фрау Элизу. Король и двенадцать его министров скрываются в Тюильри.

Париж снова на ногах.

Рабочие требуют республики. Банкиры отказывают. На площадях и бульварах завязываются перестрелки. Монархистов снова забрасывают булыжниками (о, эти славные мостовые Парижа!). Впервые в истории классовой борьбы пролетариата на улицах Парижа взвивается красное знамя...

Несмотря на героизм масс, торжествуют гусары. Тюрьмы настежь распахивают ворота. Луи Филипп ненасытен. Он заковал бы в кандалы весь Париж.

И днем и ночью гонят колонны арестованных в сторону мрачной башни Сен-Пелажи[1]. Медленно шагают повстанцы между двумя рядами вооруженных конвоиров. Вдруг где-то впереди чистый голос запевает «Марсельезу». Колонна подхватывает. Запевала — молодой человек в клетчатой блузе художника с лицом поэта. Арестанты хорошо знают его — Оноре Домье популярен. Несколько лет его смелые рисунки в «Caricature» помогали революции, осмеивая короля банкиров.

В тот трудный час, когда в Сен-Пелажи захлопывались двери казематов за спиной революционеров, в скромной комнате на бульваре Пуасоньер, из которой еще не выветрился пороховой дым, Генрих Гейне писал песнь о тех, кто первым поднял красное знамя...

Год 1834-й. Господин Энгельс-старший справляет четырнадцатилетие сына. Революция снова возвращается в Лион. На этот раз к ее цитадели подбирается палач Тьер. Его жестокость воскрешает в памяти 1793 год.

Лозунг Лионского восстания — «Республика или смерть!» — сотрясает не только Францию, но и Европу. Лион плавал в крови, когда на помощь ему выступили Париж, Гренобль, Сент-Этьенн... Тьер не знает, что такое пощада. Размахивая мечом Бонапарта, этот пигмей, этот «мирабо-слепень» бросает Франции страшную угрозу инквизитора из «Дон

[1] Тюрьма в Париже.

Карлоса»: «Убью тебя для твоего же блага!» Убийства начались с дома № 12 по улице Транснонен [1], убийства, которые кто-то назвал «маленькой шуткой», убийства, которые превратили Июльскую монархию в подлинный «bank de morte» [2].

Годы 1835 — 1840-й. Молодой Фридрих становится совершеннолетним. Революция временно отложила патронташи в сторону. С закопченных порохом баррикад она перебралась в университетские аудитории, в кружки философов. Борец становится мыслителем. Революция шествует не по улицам городов, а по страницам газет. Она заряжает умы. Ее дух чувствуется в лабораториях ученых, в мансардах художников, в салонах поэтов и композиторов, в аду фабричных корпусов. Вся Европа была покрыта ее огненной сетью. Каждый дом бедняка — ее крепость, каждое честное сердце — сердце воина.

Реакция в панике.

Новый этап революции казался ей трижды страшнее вчерашнего. Вчера ее оружием были руки, сегодня — умы. Кавалерийские эскадроны оказались бессильными перед ними. Сабли ковались для того, чтобы врубаться в толпу, но это оружие оказалось бессильным против изобретений, книг, нот, картин, теорий. Великолепно закаленная сталь легко рубила головы, но не идеи... Мысль может быть побеждена

---

[1] Все жители этого дома, от мала до велика, были зверски перебиты.

[2] Банк смерти.

только мыслью. Реакция чувствовала и страшилась этого.

Реакции грозило поражение...

Революция умов была на подъеме. Германия подарила человечеству диалектику Гегеля — гениальное творение, «алгебру революции». Фундамент официальной науки — идеализм — дал трещину. Франция издавала сочинения Сен-Симона, Фурье. Как ни утопичен был их социализм, но корни его уже проникли к питательной среде. В Англии об этом заботился Роберт Оуэн. И ни полицейская строгость цензуры, ни ожесточенное сопротивление талантливого ума Шеллинга уже не могли воспрепятствовать прогрессу. В Берлине социалистические идеи воспевали Гейне, Бюхнер, Бёрне, воспевали как победу. В Париже композитор Берлиоз и художник Делакруа открыто высказывали свои симпатии революционным идеям. В Лондоне размышлял о них Дарвин. В Петербурге творил Герцен. Целая фаланга гениев сделала шаг вперед. Революция преклонялась перед Разумом. Ее разящим оружием становились знания. В борьбе с ними враги были бессильны.

Как ни остра сабля — оружие террора, она пасует в схватке с искусной рапирой Разума.

Годы 1841—1846-й... Революционный вихрь стремительно перелистывает календарь истории. Годы, как бы они ни были похожи друг на друга, нельзя назвать близнецами, как нельзя назвать близнецами волны, перекатывающиеся по морской равнине. Невидимые шаги истории слышатся то громче, то

тише — в зависимости от накала общественных страстей, от остроты поединка классов. Каждый шаг истории чреват революционным взрывом. Каждый год оставляет в памяти какой-то подвиг.

Годы уходят в историю, а революция шагает вперед. Суровая тень чартизма заволакивает белокурый Альбион. Ткачи Силезии ткут саван для немецкого капитализма. С горных кряжей Италии доносятся боевые песни карбонариев.

1847 год возвещает о создании «Союза коммунистов». Ряды пролетариата становятся плотнее, бодрее, сильнее.

Революция нетерпеливо шагает по Европе. Ее грозовые разряды все чаще раздаются над городами. Революционные молнии сверкают над Веной и Будапештом, Варшавой и Миланом, Триестом и Мадридом...

Год 1848-й. Париж в огне. Февральская метелица припорашивает снегом растущие баррикады. С оружием в руках на улицы и площади выходят наследники июльских дней 1830 года. Наступает час возмездия. Убийцы отцов должны предстать перед судом детей. Судья теперь сама история, а исполнитель ее приговора — пролетариат, писал Маркс.

Все становится на свое место.

Реакция уже не отваживается выступать под фальшивой личиной меценатствующей покровительницы нового. Никто ей больше не верит. Достаточно

было одной ночи — ночи на 25 февраля, чтобы сорвать маску. Волк предстал тем, кто он есть,— волком. Девиз «Свобода, Равенство, Братство» вышвырнут в парламентский закуток. Вместо него контрреволюция двинула штыки пехоты, сабли кавалерии, снаряды артиллерии.

Февральская драма сменяется июньской трагедией. Кровавая вакханалия генерала Кавеньяка (тысячи брошенных в тюрьмы, сосланных на каторжные работы в Кайенну, растерзанных на месте) вынуждает Жорж Санд, амазонку интеллигенции, с гневом воскликнуть: «Не верю в республику, которая начинает с расправы над трудовым людом».

Эпоха — грозная и великая — сходит с подмостков жизни.

Наступает новая...

Фридриху Энгельсу двадцать восемь лет. Наконец-то он совершенно самостоятелен. Впервые в жизни в день своего рождения он не поцеловал мать в нежную щеку. В этот день он впервые целует пылающее знамя революции.

* * *

Молодость Энгельса позади. Наступает пора зрелости. За весной всегда следует лето. Майская любовь сменяется знойной июльской жатвой.

Вуппертальская долина

Ничто так не переменчиво, как облака, но земля еще переменчивее.

Виктор Гюго

РАЗВЕРНЕМ карту Германии. Найдем голубую нить Рейна, по ней указательным пальцем медленно поведем на север. Вот Кобленц. Здесь в великую немецкую реку вливается полноводный Мозель. Пересечем слоеный Рейнский хребет, чтобы попасть в Бонн — на родину Бетховена. Чуть севернее — Кёльн с его знаменитым кафедральным собором. Еще севернее — Дюссельдорф. Это Рур.

От Дюссельдорфа разбегаются четыре луча. Каждый из них — дорога. Тот, что стремится на запад, ведет в Гладбах. Еще несколько километров, и перед нами предстанет Голландия. Северный луч ползет прямо к Дуйсбургу, а оттуда — к Эссену, сердцу Рура. Южный луч вернет нас через Леверкузен в Кёльн. Но самым интересным лучом для нас будет восточный — путь, ведущий в Вупперталь, в родные края Фреда.

Итак, мы в Дюссельдорфе. Нас ждет дорога, ждет Вупперталь. Нынешние времена могут предложить нам автомобильные стоянки, автострады, современный индустриальный пейзаж. Старина предлагает дилижанс со всей его романтикой. Старина заманчива, она представляет великолепную возможность напрямик, без всяких условностей, проникнуть в самую сердцевину эпохи, которая интересует нас.

Мы оказались где-то между 1836—1840 годами. Вместо шляп и плащей на головах у нас цилиндры, на плечах — пелерины. Вместо элегантного «форда» на центральной дюссельдорфской площади нас поджидает старомодный дилижанс. С высокого

кучерского облучка нам приветливо кивает старый возница. Охрипшим голосом (сказывается холодное вуппертальское пиво!) он сообщает:

— В такую добрую погоду за пять часов будем в Вуппертале. До Зоннборна — галопом. Дальше — до Эльберфельда — трусцой... Приятного путешествия, милостивые государи!

Длинный кнут, взвившийся над головой кучера, щелкает, словно пистолетный выстрел. Поехали.

* * *

Дилижанс с грохотом покатил по старому мосту через реку Дюссель. Возница торжественно протрубил в олений рог.

Широкое купе дилижанса ритмично покачивается на мягких рессорах. Мимо круглого окна бегут красивые рейнские пейзажи — солнце и зелень всюду, куда ни бросишь взгляд. Это одна из картин «отца Йорданса» [1]. Вдоль горизонта — холмы, поросшие лесом, мельницы и стада, стада... тихой радостью, классическим блаженством веет от этакой пасторали. Время от времени в купе врывается голос возницы. Хрипловатый и протяжный, он старается перекричать цокот белых рейнских коней:

— Schneller! Schneller! [2]

Дюссельдорфский кучер хочет показать, какие у него резвые кони. Мы, родившиеся в век реактив-

---

[1] «Отец Йорданс» — Якоб Йорданс (1593—1678) — видный фламандский живописец.

[2] Быстрей! Быстрей! *(нем.)*

ных двигателей, снисходительно улыбаемся. Уж очень мил этот добрый старец.

В нашем купе еще два пассажира — пастор с плечами атлета и молодой человек с челом мыслителя. Сидя друг против друга, они, видимо, равнодушны к «картинам» Йорданса. На коленях пастора раскрытая книга, мыслитель шелестит газетой. Они так увлечены чтением, что у соседей невольно разгорается любопытство.

В купе тишина. При крутых поворотах, когда дилижанс начинает скрежетать и подпрыгивать, пассажиры с недоумением вскидывают головы, с равнодушным видом поворачиваются к окнам и обмениваются лаконичными репликами:

— Старый Отто сошел с ума. При такой бешеной езде лошади падут, прежде чем мы доберемся до Зоннборна.

— Ничего. Еще немного, и наш старик обставит чайник Стефенсона.

— Schneller! Schneller!

Путь до Зоннборна становится короче, реплики — длиннее. Оба соседа все чаще поглядывают в окна. Слово за словом, вопрос за вопросом, и между ними завязывается большой разговор. И хотя мы присутствуем при начале его, но уже знаем, кто наши спутники. Пастор и мыслитель — наши старые знакомые. В своих «Письмах из Вупперталя», опубликованных в 1839 году в журнале Карла Гуцкова «Германский телеграф», Фридрих Энгельс рассказывал о них. С нами путешествуют пастор Юргенс, один из последних пророков на грешной земле, и учитель литературы Генрих Кёстер. В купе обе противопо-

ложности вуппертальского общества. Возле одного окна — глава вуппертальского пиетизма[1], возле другого — самый радикальный ум, вдохновленный идеями Гегеля. Разговор между ними обещает стать интересным.

— Вы читаете «Барменский вестник»? Любопытно! Что интересного вы можете найти на его греховных страницах? — слышится голос пастора Юргенса, чей драматический бас привык к поучениям.

Учитель неторопливо переводит взгляд с мелькающего за окном пейзажа на пастора и спокойно отвечает:

— Газета Германа Пютмана — одна из лучших в Германии, ваше преподобие. Ее «греховные» страницы — гордость всей нашей славной долины. От души рекомендую познакомиться с ними.

Юргенс осеняет себя широким крестом, и перст его упирается в раскрытую на коленях книгу.

— Я читаю только Библию, господин Кёстер. Все прочее — от лукавого. Много лет назад, когда я бродил по американским прериям[2], обращая краснокожих чертей в лоно Христово, еще тогда познал я истину — слово божие. И, слава богу, для меня этого предостаточно!

— Но, мой отец, долина Вуппера не имеет ничего общего с техасской саванной. Мы живем в самом сердце цивилизации, для которой библейские

[1] Религиозное течение, возникшее в конце XVII века, которое прославляло мистицизм.

[2] Юргенс некоторое время был проповедником в Америке.

премудрости ничего не значат. Любопытно, конечно, порыться в христовых истинах, но еще лучше познать сочинения Вольтера и поэзию Гете. Да и кому не известно, что мы, вуппертальцы, не представляем себе жизни без новостей Пютмана...

— По моему убеждению, все его новости — несчастье для Вупперталя! — с раздражением возражает пастор.— Любезный вашему сердцу Пютман — безбожник, и ничего больше. Я еще ни разу не видел, чтобы его нога переступала порог храма. Неужто вам неведомо, что он читает еретика Бюффона, знает наизусть все циничные писания Гейне и поддерживает весьма сомнительные связи с каким-то обществом в Берлине. Представьте теперь идеалы этого господина!..

Кёстер снял цилиндр, положил его на колени, старательно пригладил длинные волосы и ответил неторопливо, почти торжественно:

— У прогресса всегда были свои солдаты, пастор Юргенс. Редактор «Барменского вестника» — один из них. Сегодня Вупперталь знает больше того, что он знал вчера. Поблагодарим же за это господина Пютмана!.. Я только что просмотрел последний номер его газеты. Должен сказать вам, узнал достаточно много.

— Интересно, что же такое вы узнали?

— С удовольствием сообщу вам, дорогой пастор! Газета господина Пютмана публикует подробные статистические данные о распространенности проституции среди вуппертальских работниц, той самой проституции, которую церковь давно предала анафеме. Газета сообщает также о большом музыкаль-

ном празднестве в Дюссельдорфе, на котором присутствовал сам Феликс Мендельсон. Третью страницу украшают новые стихи нашего дорогого Фрейлиграта. Специальная статья приветствует новую пьесу Бюхнера — «Войцех», которую вы, пасторы, так жестоко обругали только за то, что ее действующие лица — рабочие. Имеются и довольно интересные новости о последних волнениях среди рурских сталеваров... Как видите, отец, человеку есть что почерпнуть у нашего барменского издателя. Труд редактора не пропадает даром...

Юргенс шумно сопит.

— Вы окончательно убедили меня, что эта газета должна быть закрыта. Представьте себе: ни строки, посвященной церкви, богу! Да это же газета самого антихриста, и место ее — в аду или в подвалах королевской цензуры. Пруссия — не Франция, уважаемый господин! Пруссия верна небу и не нуждается в подобных пасквильных листках...

В купе снова наступает тишина. Слышится только ритмичный цокот копыт, да порой врывается уже знакомый веселый голос кучерского рога: дилижанс катит по улицам Зоннборна. Мы уже у ворот Вупперталя...

Перед любознательными путешественниками развертывается незабываемый пейзаж: далекие холмы — то округлые, то продолговатые,— плотно стиснувшие пыльную дорогу. С их могучих покатых плеч, словно живописные плащи, спускаются густые леса, изобилующие дичью. Просвечиваются сказочной красотой солнечные поляны с табунами пасущихся лошадей. На вершинах холмов — ветря-

ные мельницы, приветливо машущие крыльями. Дальше дорога покорно вьется вдоль тесного русла реки Вуппер, неторопливо спешащей вниз, к Золингену, а оттуда — к поэтической долине Рейна. По сравнению с Рейном, привольным, как море, Вуппер кажется жалким, обиженным природой. То тут, то там по его глади плывут пушистые утиные выводки.

Очарование здешним местам придают и склонившиеся над рекой молодые ивы, полощущие свои косы в хрустальной воде. Между ивами — цветастые ковры лугов, по которым вышагивают важничающие цапли, вдали — косари. И над всем этим великолепием форм и красок — бескрайнее шелковистое небо и где-то высоко-высоко по своим извечным путям над старопрусской Вестфалией плывут к океану невесомые облака.

Сбавив ход, дилижанс, шумно громыхая колесами по булыжной мостовой, подкатывает к Эльберфельду. Его грациозное отражение весело пританцовывает на волнах Вуппера. Чем ближе город, тем мутнее и стремительнее воды реки. Они приобретают все более яркий красноватый оттенок. Перед самым же городом река становится совсем багровой, как кровавые воды Флегетона [1].

Цвет Вуппера невольно напоминает остроумное замечание Фреда: «Ее яркокрасный цвет ведет, однако, свое происхождение не от какого-нибудь кровавого побоища,— ибо здесь воюют между собой лишь теологические перья, да еще болтливые старые бабы, обычно из-за пустяков,— и не от стыда

[1] Река в аду (Данте).

за людские нравы, хотя на это имеется поистине достаточно оснований, а исключительно от множества красилен, применяющих яркокрасную краску». И действительно, в верховьях Вуппера, в сизом мареве дали, можно заметить клубы дыма над невидимыми отсюда фабричными трубами. Текстильные фабриканты Эльберфельда и Бармена пользуются водами Вуппера для крашения своих прославленных тканей и пряжи. Сукровичный цвет Вуппера выразительно повествует о характере повседневного труда текстильщиков...

Пока мы наблюдаем за пейзажем, Юргенс с Кёстером продолжают спор. Они уже оставили в покое и личность Пютмана, и его газету и теперь горячо обсуждают направление других вуппертальских газет. Спор незаметно вводит нас в круг интересов вуппертальского общества, знакомит с его жизнью, вкусами, идеями, борьбой.

— Понимаю, все понимаю! — гремит бас Юргенса.— Ваш идеал — Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Ваш первый друг — Фердинанд Фрейлиграт. Великолепно! Вы располагаете всем, что требуется для бунтаря. Не сомневаюсь, что вы ни разу не раскрыли евангелия, предпочитая ему речи Дантона или фантасмагории Бёрне. Боже мой, боже мой!..

— Хватит, святой отец! — резко обрывает Кёстер язвительные замечания пастора.— Для вас, пасторов, каждый самостоятельно мыслящий человек — бунтарь. Будь власть в ваших руках, вы давно превратили бы Пруссию в настоящий ад, где не было бы другого чтива, кроме псалмов Давида, где не было бы другой одежды, кроме коричневых пасторских

ряс. Вы предавали бы анафеме любую свободолюбивую мысль, если у вас не оказалось бы под рукой весомых аргументов. Вы предаете хуле все и вся: и великого Гегеля, и льва Дантона, и мудрого Бёрне. Вы обзываете их бунтарями, разбойниками, нечестивцами. Почему? Только потому, что их гордый дух не хочет верить вашим легендам о боге. Их бог — человек!— свободный, сильный, умный. О, несчастный Вупперталь! Как вы мешаете ему! Вы ненавидите все прекрасное, все достойное его. Ненавидите даже прелестные пейзажи, которые помогают людям чувствовать себя земными существами. Вупперталь славится газетой Пютмана. Весь Рейн, вся Вестфалия читает ее с уважением. Вас это бесит, и вы предаете газету анафеме. В Вуппертале живет один из величайших поэтов — наш Фрейлиграт. Сам Гёте хвалит его. И это вас бесит. Вы продолжаете ругаться...

— Господин Кёстер, вы забываетесь! Вы клевещете!— пастор подымает руку, угрожающе потрясая перстом. — Мы, пасторы, не человеконенавистники. Мы уважаем все, что служит порядку и богу. Считаю своим долгом доложить вам, что в Бармене есть газета, которую мы с гордостью называем своей. В ней нет радикальной ереси и суетных высказываний. Эта газета — истинный защитник церкви и морали. Это...

— Это «Барменский еженедельный вестник»?..

— Совершенно верно!

Лицо учителя проясняется.

— Совершенно верно! Другой такой газеты нет. Это ваш профессиональный орган. Он слишком

много пишет о боге и слишком мало думает о людях. Невольно вспоминаю слова одного из моих учеников об этой газете: «Старый ночной колпак, у которого из-под беллетристической львиной шкуры постоянно выглядывают пиетистские ослиные уши». Великолепно! Лучше не скажешь...

— Carámba!.. Каков учитель, таков и ученик!..

— Пастор!.. Вы хулите ученика, имя которого слишком известно. Его отец — один из самых солидных вуппертальских граждан, один из самых уважаемых мирян. Опасно объявлять богохульником Фреда Энгельса, сына фабриканта Энгельса-старшего, уважением которого вы гордитесь...

Юргенс торопливо крестится.

— Итак,— продолжает Кёстер,— вашу любимую газету даже дети называют ночным колпаком, прикрывающим плешину вуппертальского пиетизма. Простите меня, грешного, но это уже страшно... Понимаю, «Барменский еженедельный вестник» не одинок. Сентиментальный «Сельский вестник» — отличная компания для него. Насколько мне известно, ваше имя появляется на его страницах. Припоминаю, именно в этой газете вы однажды назвали себя пророком, мечтающим о превращении грешного Вупперталя в новый Иерусалим...

Дилижанс вдруг остановился. Старый возница спрыгнул с козел. Минуту спустя его улыбающаяся физиономия появилась в круглом окне:

— Добро пожаловать, господа! Вас ждет благочестивый Эльберфельд...

Быстро выбираемся на дорогу, стряхиваем с себя белую вуппертальскую пыль. Пред нами недостроен-

ная католическая кирха. За ней — ломаный лабиринт городских улиц. В поднебесье вьется стайка голубей. Возле кирхи снуют крикливые газетчики. Без колебаний покупаем газету Пютмана. Кёстер довольно улыбается, машет нам рукой и сворачивает в одну из боковых улиц. Мимо нас, фырча, промелькнула атлетическая фигура пастора Юргенса. Он метнул по нашему адресу какое-то проклятие. Слов мы не расслышали.

Издали доносятся звуки клавесина — кто-то наигрывает Моцарта. Снимаем цилиндры. Мы на родине Фреда...

* * *

Католическая церковь, одиноко стоящая перед самым въездом в город — свидетельство какой-то трагедии. Изгнанная с шумных городских улиц, выросшая рядом с башней вуппертальской тюрьмы, церковь напоминает наказанную грешницу. Весь ее внешний вид, каждый ее камень, каждая статуя, кажется, кричат в лицо путнику, переступающему городскую черту: «Если ты католик, вернись! Здесь живут дьяволы Лютера. Вупперталь не любит детей папы римского...»

Да, каждый вступающий в долину Вуппера, должен твердо запомнить: здешняя земля, «верная богу», признает только лютеранские молитвы.

И одинокий силуэт церкви, и зубчатая башня «государственной эльберфельдской тюрьмы» остаются позади нас. Издали они похожи на два колосса, опирающиеся на плечи друг другу. От них веет жестокостью и враждебностью. Но мы уже на глав-

ной улице Эльберфельда, хотя в сознании еще вертятся мысли о религиозном фанатизме вуппертальцев. Как все-таки резко отличаются здешние строгие и практичные жители от веселого народа на берегах Рейна! Люди этой великой реки отдают богу только души. Они ищут в религии лишь торжество чувств, а внутреннюю красоту — в человеке. Для них поэтический смысл библейских легенд важнее календарных подробностей истории религии. Эти жизнелюбивые потомки немецких трубадуров идут в церковь послушать орган, полюбоваться шедеврами Дюрера[1] или Шлюттера[2]. Они любят не проповеди, а музыку, и ничего не знают о подвигах святых, но часами простаивают перед великолепными изваяниями их фигур. Сохранив в душе свободолюбивый дух Ренессанса, зараженные микробами еретизма, занесенными революционными ветрами из Франции, жители Рейна подняли веру на пьедестал искусства, превратив его в свою религию.

Совсем другая картина в «священном» Вуппертале. Здесь вера в бога не наслаждение и уж конечно не поэзия. Вера здесь — суровая обязанность, мученичество. В сердцах истинных вуппертальцев нет места чувствам. С небом у них общается только разум. Когда вупперталец молится, он думает не о боге — о своем деле. Его религия — религия делового человека, нуждающегося не в успокоении, а в практических советах.

---

[1] Дюрер — выдающийся немецкий живописец и график эпохи Возрождения.

[2] Шлюттер — известный немецкий иконописец эпохи средневековья.

И вуппертальский бог не имеет ничего общего со своим артистическим рейнским коллегой. Он сочетает в себе гневный образ Оттона с аскетической душой Лютера и царствует в своей обреченной долине строго и грубо. Он прощает только тех, кто умеет делать деньги, и непримирим к тем, у кого нет прочного общественного положения. Его уши не выносят торжественной музыки литургий, глаза — пышной росписи икон. Его церкви похожи скорее на клубы или бильярдные залы, где куда удобнее совершать сделки, нежели молиться.

Вуппертальские пиетисты, давно забывшие революционные идеи Лютера, его славный пример, живут жизнью аскетов, воинов, которые не ищут ничего другого, кроме права служить богу, а через бога — своей профессии и не имеют никаких других обязательств, кроме обязательства преследовать любое свободомыслие, малейшее проявление революционного трепета.

Наши размышления о вуппертальской вере прерываются при взгляде на высокое серое здание, отличающееся оригинальностью своей архитектуры. Оно так неуклюже по своим пропорциям, что вечером напоминает огромного верблюда. Высокие каменные колонны этого здания причудливо соединили стили трех эпох: основа колонны — египетский стиль, середина — дорический, вершина — ионический. Внешне такое здание можно принять за музей. Но сквозь распахнутые окна доносятся тупые удары бильярдных шаров и разноголосый мужской говор. Это, оказывается, обычное городское казино. Когда-то в этом здании помещался музей, но из-за

финансовых затруднений эльберфельдская община продала дом с торгов, и теперь в нем пивная, залы для покера и бильярдные.

Почтенный обер-кельнер приглашает нас занять места за огромным центральным столом. Вся обстановка подчеркнуто прусская. По стенам развешаны скрещенные шпаги и рыцарские мечи. С потолка спускается оригинальная люстра с подсвечниками из оленьих рогов, окованных потемневшей медью. У входной двери раскинута шкура бурого баварского медведя, а в одном из углов навсегда застыл какой-то рейнский гидальго в доспехах. Зал заполнен шумными компаниями, неторопливо потягивающими пиво из объемистых кружек. Одна из компаний, что рядом с нами, особенно шумна, и каждая ее реплика невольно доносится до наших ушей.

Обер-кельнер обстоятельно осведомляет нас об участниках соседней компании. Господин справа — в золотом пенсне и с высоким, туго накрахмаленным воротничком — королевский профессор, директор эльберфельдской гимназии доктор Ханчке. Прямо против него за тем же столом — господин в черном — преподобный эльберфельдский проповедник и поэт Карл Август Дёринг. Тот, полный, в клетчатом рединготе, с длинной тирольской трубкой — сам Вильгельм Лангевише, крупнейший издатель литературы в Вуппертальской долине. Маленького суетливого человечка, что рядом с ним, зовут Кругом; он пишет скучнейшие книжки по теологическим вопросам. Слева от Круга, тот, что потягивает пиво,— Хагель, несчастный соперник Лангевише. А тот, высокий, ожесточенно жестикулирующий — всем известный

Лит, сочинитель стишков для детей, директор женского городского училища. Обер-кельнер громко щелкает каблуками и, многозначительно подмигнув, словно подводя итог, произносит только одно слово:

— Элита!

В этот самый момент до нас доносится голосок, похожий на птичье чириканье. Это голос Круга.

— Доктор Ханчке прав, господа! — запальчиво кричит он.— Нынешняя молодежь закончит катастрофой. Пиво она любит больше молитв, политику — больше семьи... На днях я сам был свидетелем скандала: группа учеников эльберфельдского реального училища несла в руках свои цилиндры и во все горло распевала «Марсельезу»...

— Я тоже слышал об этом,— поддакивает Лит.— На мой взгляд, это нечто естественное. Вупперталь ближе к Парижу, чем к Берлину. В этом наше несчастье. Шашки его величества слишком далеки от нас, чтобы вовремя остудить кое-какие не в меру горячие вуппертальские головы. Вот почему романтика 1830 года так свободно распускается под самым нашим носом.

Многозначительно откашлявшись, как откашливаются только ораторы, в разговор вмешивается Карл Август Дёринг:

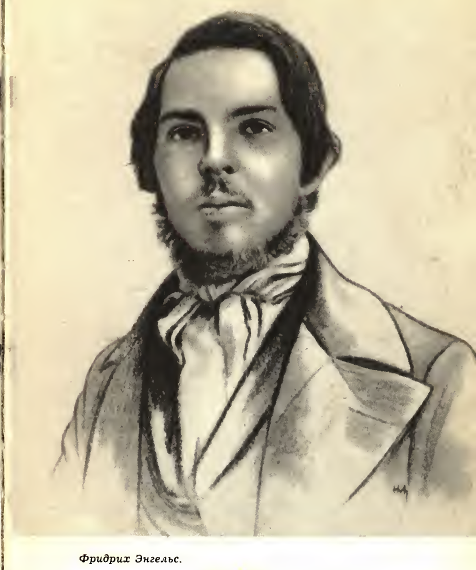
— Да, доктор Ханчке глубоко прав. Молодые вуппертальцы сбились с пути добродетели. В их головах слишком много идей, которые мешают им быть чистыми перед богом. В училище они тайком читают греховную книгу Давида Штрауса «Жизнь Иисуса», а на фабриках распространяется призыв «Мир — хижинам, война — дворцам». И все это

происходит на виду у церкви, учителей, городских властей. Я убежден, господа, что речь идет не о заурядной опасности. Нет ничего страшнее молодежи, зараженной современными идеями...

— Нет! Действительно нет! — снова раздается птичье чириканье.

— Господин Лит в известной мере прав,— начинает речь доктор Ханчке.— Действительно, Париж, этот старый развратник, слишком близок к Вупперталю. Когда там стреляют, здесь слышно даже щелканье курков. Это, несомненно, очень опасно. Но, уважаемые господа, сабли прусского короля, о которых напомнил наш поэт, ничем не могут помочь Эльберфельду. Они слишком нужны в самом Берлине, молодежь которого куда невоздержаннее нашей. Всего месяц назад я ездил в столицу с докладом его величеству. Я, господа, можно сказать, побывал в настоящем аду! Мои старые глаза видели в Берлине ужасные сцены. Они видели студентов, освистывающих государственного профессора Шеллинга, видели солдат, участвующих в собраниях рабочих, артистов, опьяненных речами Марата, толпы голодных, требующих не хлеба — свобод! И вот среди всего этого хаоса я встретил целый легион обезумевших талантов, объединившихся под вывеской «Молодая Германия», легион, превращающий столицу Пруссии в центр анархии...

Монолог Ханчке неожиданно был прерван раскатистым хохотом толстяка Лангевише. Барменский книгоиздатель смеялся от всего сердца. Утопая в табачном дыму, он высоко поднял свою трубку и громко произнес:



Фридрих Энгельс.

Рисунок художника Н. Авакумова



Отец Фридриха Энгельса — Ф. Энгельс (1796—1860).
С портрета середины XIX века

— Дорогие мои, ваши страхи смешнее моего хохота. Вы хороните Вупперталь, даже не испросив у него разрешения на похороны. Вы повторяете трагедию старика Арндта[1], который задолго до вас пытался уберечь немецкую молодежь от привлекательных чар французской Венеры. Вы только подумайте: может ли найтись такая земная сила, которая способна оторвать молодежь от демонической власти этой богини, голову которой украшает сегодня не венок любви, а шлем революционерки?..

Компания замерла, пораженная убедительностью доводов. Первым опомнился Хагель:

— Господин Лангевише, вы шутите, конечно, уважаемый коллега?..

Добродушное лицо книгоиздателя покрылось краской.

— Я очень серьезен, господа. Несерьезны наивные рассуждения, которые вы только что слышали... Чего вы хотите? Насколько я понимаю, вам нужна молодежь без любви, без идеалов, без борьбы. Но разве нечто подобное мыслимо? Неужели Вупперталь выиграет, если он воспитает свое новое поколение так, чтобы оно шествовало с Библией в руках под марш полковых оркестров? Глупо даже думать об этом, тем более совершить такое. Вы хотите возвратить наших детей на двести лет назад, к тем далеким временам, когда Эльберфельд и Бармен были грязными деревушками, а наши деды копались в земле, орудуя мотыгами? Да, тогда бог был всем, а

[1] Эрнст-Мориц Арндт (1769—1860) — крупный немецкий поэт и писатель.

человек — ничем. Но сегодня совершенно иная обстановка, господа. Села стали городами, под вуппертальским небом дымят трубы текстильных фабрик, а церкви содрогаются от грохота дьявольской машины Уатта. В наше время люди уже не верят так слепо, как прежде, в христовы проповеди и королевские указы. И они правы! И старые, и молодые видят, что паровая машина приносит куда больше пользы, чем христианские притчи... Время, в которое мы живем, мои уважаемые друзья, сурово и сложно. Ныне разум побеждает легенды. Он переоценивает истины, создавая новые. Вы забываете, что живете в эпоху, которая помнит Наполеона и породила Гегеля. А это — факты, с которыми нельзя не считаться. За эти факты я и поднимаю свою кружку. Prosit, господа!

* * *

...Но вот мы снова на главной эльберфельдской улице. После шумного казино она кажется необычайно тихой и спокойной. По обе ее стороны невысокие потемневшие от времени дома, построенные еще в XVI—XVII веках. Многие из них помнят посолдатски подтянутую фигуру Мартина Лютера, во многих бывали на постое гвардейцы Бонапарта. И свинцовые крыши, и танцующие на них железные петухи-флюгера, и порыжевшие от времени фонари перед подъездами — все напоминает театральные декорации времен Реформации. По словам Энгельса, эти здания ни старомодны, ни современны, ни красивы, ни карикатурны. От этих древних стен веет непреодолимой скукой. В их линиях — подчерк-

нутая серость, которая так импонирует владычествующему здесь пиетизму.

Во всех домах живут старинные семьи, связанные между собой родственными или деловыми узами. Большинство нижних этажей давно превращено в торговые конторы, посреднические бюро или фабричные представительства. Разноцветные эмблемы и вывески торговых фирм, огораживающие балконы, еще ярче подчеркивают серость архитектурных форм здешних зданий. Когда-то под их крышами гремели бурные тосты последних немецких рыцарей и задиристые песни славных французских мушкетеров, сегодня же здесь слышится только пощелкивание конторских счетов да шелест гроссбухов. Лишь время от времени с верхних этажей из-за тяжелых портьер доносятся грустные звуки невидимой гитары. Пока господа внизу с львиной хваткой бьются за каждый талер, дамы наверху, одинокие и забытые, скучают, тоскуя о ласках вуппертальского Казановы.

* * *

Мы на берегу Вуппера. Красивый сводчатый мост из белого горного камня над неторопливыми речными водами. Несколько десятков шагов, и мы уже на барменской земле.

Вуппертальская природа достигает здесь вершин своего совершенства. Отдохнувшая возле старинных эльберфельдских зданий, здесь, в Бармене, она снова становится мастером артистических пейзажей. Холмы, похожие на острова, постепенно сливаются с изрезанным профилем горного хребта, смягченного зеленым лесным ковром. Среди лугов и садов то тут,

то там вздымаются островерхие особняки. Голубое небо пронзили шпили готических колоколен барменских церквей. И над ними — белоснежные вестфальские облака, летящие в сторону Голландии.

Бармен — в отличие от Эльберфельда — соединение нескольких населенных пунктов, связанных городскими учреждениями. В центре — старый Гемарке, твердыня реформатского исповедания, господствующего в Вуппертале. По одну сторону Гемарке раскинулись современные здания Нижнего Бармена, по другую — Вупперфельд с крышами, покрытыми серыми плитами. Множество мостов и мостиков через Вуппер ведут путника то в Риттерсхаузен, то в Вихлингхаузен, то в Хекингхаузен. Последний населенный пункт — удивительный Рауэнталь, где расположена часть барменской промышленности. Население этого края почти поголовно лютеране.

Значительная часть домов в Бармене — массивные каменные постройки, сооруженные в современном стиле. Их фасады, а точнее, их владельцы не боятся солнечных лучей, предпочитая широкие окна, выходящие на южную сторону. Освобожденные от тяжкого архитектурного реквизита средневековья, здешние здания покоряют своей грациозностью, простотой линий и форм. По сравнению с мрачноватым Эльберфельдом в Бармене совершена настоящая революция в градостроительстве. В здешних архитектурных формах больше делового, практического — типично буржуазного. Это впечатление усиливается, когда видишь распахнутые настежь конторские двери, яркие краски фирменных вывесок и суровые

силуэты фабричных корпусов — неделимой части городского пейзажа.

Пред нами одно из солидных барменских зданий. Вдоль его выбеленных стен растут лавры, за металлическим кружевом ограды — гроздья цветущих глициний. На фасаде — вывеска: «Книгоиздательский дом господина Вильгельма Лангевише, издателя в Бармене и Изерлоне», того самого толстяка Лангевише, который уже завоевал наши симпатии.

Переступаем порог конторы. В помещении тихо. Вдоль стен и в углах — горы газет и книг в многоцветных обложках. В глубине конторы, за низкой стеклянной переборкой,— солидный дубовый стол, за ним — две молчаливые фигуры в темных рабочих сюртуках, с нарукавниками до локтей и покрасневшими от постоянного напряжения глазами — типичные представители конторских служащих первой половины прошлого века. Удивленные нашим вторжением, оба встают. Тот, что потоньше, легко поклонившись, учтиво спрашивает:

— Что угодно господам?

— Покажите, пожалуйста, новейшие издания, господин Штрюккер!

— Вам известна моя фамилия?

— Как видите. Нам известна также и фамилия господина Нейбурга, вашего приятного коллеги. Оба вы слишком известны в долине.

Служащие смущенно улыбаются.

— Означает ли это, что вы знаете о нас все необходимое?

— Почти. Вы добрые друзья Фердинанда Фрейлиграта, участвуете в кружке, где читаются драмы,

регулярно следите за «Барменским вестником», вы уважаете...

— О, того, что вы сообщили, больше чем достаточно! Вы ходячий справочник. От кого же, позвольте спросить, вы узнали столько подробностей?

— Если угодно, от вашего милого знакомого Фреда Энгельса, внука дедушки Гаспара...

— От дорогого Фреда? Как это приятно!

Добрые люди! Они и не подозревают, что мы никогда не видели Фреда, а то, что узнали о них, почерпнули из его письма Вильгельму Греберу, написанного в 1839 году...

Служащие предлагают нам стулья и несколько толстых каталогов, написанных от руки. В каталогах упоминается, что книгоиздательский дом Лангевише — крупнейшая фирма в Вуппертале, что она поддерживает постоянные связи с давно зарекомендовавшей себя фирмой господина Брокгауза в Лейпциге, что мы находимся в лучшей книжной лавке.

Глаз, пробегающий по каталогам, то и дело встречает хорошо знакомые заглавия. Тут и «Эпигоны» Карла Иммермана, и «Агасфер» Юлиуса Мозена, и «Кочи» Карла Бека, и «Стихотворения» Фердинанда Фрейлиграта, «К философии истории» Карла Гуцкова и прочее и прочее. Здесь и трагедия «Вечный жид», принадлежащая перу самого Лангевише, но подписанная псевдонимом «В. Некто». Перед нами целая литературная эпоха. Мы роемся в каталогах, в книгах, снимая пальцами тончайшую пыль.

Это не обычная пыль! Это драгоценный прах тех времен, которые человечество давно признало великими...

Сердечно распрощавшись с Штрюккером и Нейбургом, покидаем новую часть Бармена и по живописной дороге подходим к одному из красивейших зданий в долине. Это знаменитая нижнебарменская церковь, построенная в благородном византийском стиле. Ее взметнувшиеся ввысь купола кажутся легкими, грациозными, почти невесомыми, чем-то напоминающими вестфальские облака, позлащенные теплым закатным солнцем. Церковь, украшенная гирляндами высеченных из камня венков, окруженная колоннами и высоким парадным входом, кажется похожей на маленький восточный дворец, перенесенный сюда прямо из какой-то фантастической сказки Гофмана. Зрелище настолько пленительное, что невольно возникает чувство глубокого и искреннего восторга. Юродства проповедников совершенно несовместимы с красотой этого творения из обычного камня, под кровлей которого правоверные жители Бармена нараспашку открывают свои души, надеясь обрести исцеление от скомпрометированной веры в справедливость всесильного бога.

* * *

Под вечер добираемся до родного дома Фридриха Энгельса.

Стоим с непокрытыми головами.

Мягкие голландские контуры здания легко вырисовываются на фоне приближающейся ночи. То в одном, то в другом освещенном окне мелькают неясные силуэты. Старая торговая фирма живет своей жизнью. Вокруг тихо, так тихо, что любой шорох вызывает раздражение, как нечто ненужное и чуждое.

Один из нас уже дернул за звонок у парадного подъезда, и дверь каждую секунду может распахнуться. В любой момент пред нами может появиться сам Фред — молодой, буйный, сердечный.

Еще не смолкло эхо звонка, а по внутренней лестнице уже слышны быстрые шаги. Мы вздрагиваем. Может, это шаги Фреда?..

Миг-другой — и в освещенном проеме появляется стройная женская фигура с большим старинным подсвечником в руках.

— Кого вы хотите видеть, господа?

— Господина Фридриха Энгельса-младшего, уважаемая фрау.

Женщина тепло улыбается.

— Фред уехал на реку, дорогие. Скоро должен вернуться. Если не имеете ничего против, заходите, пожалуйста, подождем его вместе...

Женщина отступает на шаг в сторону, чтобы пропустить нас. Только теперь мы поняли, что перед нами сама фрау Елизавета ван Хаар, мать Фридриха. Мы низко склоняем головы и перешагиваем через высокий каменный порог дома.

Дверь еще не успела захлопнуться за нами, как со стороны долины донесся цокот копыт галопирующего коня.

Фрау Элиза радостно взглянула на нас:

— Вам повезло! Через несколько минут Фред будет здесь...

Родословная

— Откуда у тебя, дитя, столько дарований?
— Как вам сказать?.. От отца...
— А у отца от кого?
— От деда.
— А деду кто их передал?
— Он их сам добыл.

Гёте

В КОНЦЕ XVI века в Вуппертале появились первые представители из рода Энгельсов. Они были людьми суровыми, рослыми, плечистыми, голубоглазыми. Рядом с коренными жителями пришельцы казались необычайно высокими и сильными, как все древние саксонцы. Их манеры, резкие движения, речистость, ясность мысли, цельность натур вызывали у окружающих уважение.

Энгельсы были истинными германцами в лучшем смысле слова.

Откуда они прибыли в Вупперталь, в точности никто не знал. Ежели судить по могучим плечам и легкой сутулости, Энгельсы всю жизнь трудились на картофельных полях вдоль Эльбы. Такую же грубую деревянную обувь, как у них, носили только в селениях, прилегающих к границам Голландии. Склонность пришельцев к торговле напоминала о шумных городках южного Рейна. А необычная жизнерадостность была лишь в крови швабов. Любимые поговорки Энгельсов встречались и далеко на севере, возле холодной Балтики, и на юге — в лесах Франконии. Эти мужественные и умные люди принесли с собой кладезь знаний и впечатлений. Они легко покорили «детей Вуппера». За короткий срок имя Энгельсов стало синонимом энциклопедичности. Крестьяне с почтением снимали шляпы при встрече с ними.

XVI век на исходе.

Первые Энгельсы были его типичными представителями. Они ходили в рубахах с широко расстегнутыми воротами. Не признавали благородных рыцарских титулов. Наизусть читали памфлеты Ульриха

фон Гуттена. Но главное — с богом они разговаривали по-немецки. Старейшие из них хорошо помнили заветы Лютера, высеченные на вратах виртембергской церкви. Энгельсам помоложе нравились революционные изречения Томаса Мюнцера, и они страстно боролись за равенство «божьих детей». Но все это не мешало ни первому, ни второму поколению внимательно следить за развитием науки, торговли, искусства. Энгельсы были поклонниками гуманизма. Они не могли найти удовлетворения ни в учении Лютера, ни в кипучей энергии Мюнцера. Их духовный мир был свободен от готических решеток — его согревали солнечные лучи Ренессанса. То были люди, жажда знаний которых давно иссушила худосочные ручьи теологии, и потому они неудержимо стремились к истокам рационализма. В их доме рядом с Библией лежали «Похвала глупости» Роттердамского и астрономические тетради Коперника. В их речах имена лютеранских святых перемежались с именами Колумба, Васко да Гамы, Магеллана...

Окружавшая действительность была для них уже не тайной, а осознанной реальностью. Их девиз гласил: «Когда наука процветает, дух бодр и живется радостно». Их нравственные нормы были заключены в известном афоризме Лютера: «Кто не любит женщин, вино и песни, тот на всю жизнь остается дураком». В крови рода Энгельсов бурлили демонические силы великой эпохи, которая, по словам Монье [1], освободила человека от всех ограничений, предоставив ему возможность бывать всюду, где хочется.

[1] Анри Монье — французский драматург, актер, художник и литератор.

* * *

В те давние времена в долине Вуппера жило трудолюбивое крестьянство. Там никогда не было феодалов, и поэтому земля оставалась разделенной на тысячи отрезков и клиньев. Верные гостеприимству мелких собственников, никто не отказал в «скромном клочке» и первым представителям рода Энгельсов. Несмотря на ростовщические проценты, они взяли землю с той же глубокой благодарностью, с какой Моисей принял от бога обетованную Ханаанскую землю. Вуппертальский чернозем род Энгельсов предпочел перспективе нескончаемых скитаний.

Век, а может быть и дольше (история, к сожалению, не сохранила ничего более определенного), прадеды Фридриха Энгельса оставались мелкими крестьянами-собственниками. Из года в год они сеяли хлеб, сажали картошку, возделывали виноградники. Зерно давало муку, виноград — вино, а вино и хлеб — это уже то, чем можно торговать. Каждую осень их телеги, поскрипывая, катили по дорогам в Золинген, в Дортмунд или в Дюссельдорф. На юге предки Энгельса сбывали вино, на севере — хлеб. Но скромная выручка никогда не отяжеляла их карманы.

Годами эти здоровые и умные люди воевали с землей, стараясь взять от нее все, что она способна была дать. Но вуппертальская земля оказалась неподатливой. Она сопротивлялась мотыге, мешала смелым планам. От восхода до захода трудились Энгельсы. Призрак недоимок, словно стая ворон, вышагивает за сохой. Постепенно и Энгельсы становятся настоящими крестьянами — немного хитроватыми, немного самовлюбленными, но скорее — прак-

тичными, а еще точнее — плутоватыми. Медленно, но неумолимо неприветливая тень житейской действительности оттесняла на задний план все, что было для них связано с Ренессансом. Клочок вуппертальского чернозема с неумолимой закономерностью превращал первых представителей рода Энгельсов в действующих лиц классической драмы мелких немецких крестьян, в ее героев.

...Битва с землей выматывает, но не сгибает прадедов Фридриха. Они изменились, но не забыли старых привычек. Под грубой крестьянской одеждой продолжало биться горячее сердце. Теперь, правда, оно билось медленнее, тише, но все же билось, искало, жило. Тысячи адских сил пытались придушить или развратить его, но оно не сдавалось. После трудового дня в поле, по вечерам, они тянулись к свету знаний, к книге. В мучительной борьбе между высоконравственными силами сознания, порожденного Ренессансом, и догмами средневековья сердце теряло какую-то часть своего великолепия, но выигрывало уверенность в правоте своего кредо...

Более сотни лет продолжался поединок предков Энгельса со страшной действительностью вуппертальского села.

Им, людям энергичным, волевым, одинаково невозможно было смириться ни с навалившейся нищетой, ни с угрозой духовного вырождения. Зараженные беспокойным духом доктора Фауста, они пытаются заглянуть вперед, изменить свою жизнь, стать ее господами. Новости, доходившие до них, еще больше разжигали их стремления. В соседней Франции рыцари становились собственниками шахт. Анг-

лийские джентльмены начинали торговать кожами. Голландская церковь финансировала судостроительные верфи. Перерождавшийся мир открыто бежал от неблагодарного крестьянского труда. Крестьяне один за другим бросали истощенные нивы, превращаясь в бродяг, в свободных, как птицы, рабочих. Бесшумно, но властно, несмотря на всю свою слабость, промышленность выходила на общественную арену. Города, распахнувшие ворота средневековых крепостей, освобождавшиеся от обветшалых традиций, становились хозяевами положения. Энгельсы были первыми вуппертальцами, разобравшимися в новой обстановке.

Первыми!

И именно они первыми забросили соху.

Энгельсы навсегда оставили пашню. Это произошло в начале XVIII века, когда Германия последовала примеру Англии.

Прадеды Фреда начали с незатейливого ремесла — с отбелки чужой пряжи. Работа утомительная, оплачивалась плохо. Потянулись монотонные дни на берегу Вуппера, где на камнях сушили отбеленную пряжу. Все та же нищета и здесь преследовала каждого, такая же безжалостная, страшная. Но теплилась надежда выбиться в люди, из работника превратиться в хозяина. Пухли руки от ядовитых красителей, от ледяной воды. Но огонек надежды не угасал. Он светился даже тогда, когда на столе не было и хлебной корки, а в мастерской — ни грамма пряжи. От прежнего деревенского пессимизма не осталось и следа. Энгельсы навсегда изгнали его из своего сознания. И хотя семья зарабатывала в месяц

лишь талер-другой, в отчаяние не приходил никто. На их глазах рождалась промышленность, в силу которой они верили со всей страстью предприимчивых людей. Правда, сегодня они отбеливают чужую пряжу, но завтра она может стать своей. Ведь это так же возможно, как возможно все на грешной земле...

Проходят годы, и возможное превращается в действительность. Наступает день, когда ремесленник просыпается продавцом своей пряжи. Спекулятивный дух нашел отдушину. Энгельсы выигрывают битву за лучшее место в жизни, и уже никто и ничто не может их остановить, смутить, сломить.

Торговля — вот, оказывается, их стихия!..

В отличие от скитаний в поисках заработка, в отличие от земледельческого труда, рынок сулит выгоды тем, кто соображает и решает моментально, кто выигрывает и проигрывает с хладнокровием философа. Это как раз то самое, что как нельзя лучше подходило для дедов Энгельса. Рынок — настоящий фронт с его атаками, засадами и прочими маневрами. Они бросаются в наступление с отвагой солдат, верящих в генеральское призвание...

Торговля — война умов, и потому Энгельсы спокойны. В Вуппертале у них нет серьезных соперников. С их гибким умом, уверенностью в своих силах они всегда готовы пойти на любой риск. Впереди «большая игра», и они вступают в нее, чтобы выиграть.

Вупперталь присматривается: хороший игрок делает первые ставки...

* * *

В каждой семье есть свой преуспевающий счастливец. Есть он и в семье Энгельса. Это прадед Фреда — Иоганн Гаспар Энгельс-старший, сын Вениамина Энгельса, первый Энгельс, начавший «большую игру».

Иоганн-старший — собирательный образ всего самого положительного и достойного, присущего Энгельсам. Он смел, умен, практичен — настоящий человек дела, испытавший все ужасы нищеты, человек с суровым, но в то же время и сострадательным сердцем и железной волей, человек, готовый добиваться цели до конца. Прадед Фридриха оказался прирожденным торговцем, умеющим не только копить и умножать деньги, но и тонко оценивать настроения и вкусы клиентов. Иоганн, всегда готовый к подвигу, бросается в рыночный водоворот даже с одним талером в кармане и бьется с хладнокровием воина и дерзновением артиста. Он верит в счастливую звезду своего коммерческого гения и никогда не покидает поля сражения со свернутым знаменем. Пусть талер потерян, но зато приобретен опыт и задуман новый план.

Так продолжается несколько лет, пока наконец в пятидесятых годах XVIII века Счастливец (назовем его так) не выиграл первую битву. Он бросил в обращение двадцать пять талеров, а вернул пятьдесят. Можно было уже заштопать дырявый карман сюртука. По тем временам пятьдесят талеров — состояние. Иоганн-старший знал это и потому смело играл дальше. Очень скоро в кармане позвякивала уже сотня золотых монет. Прекрасно! Вуппертальцам

постоянно требуется пряжа, и талеров становится уже двести. Вдвойне прекрасно! Счастливец считает, что торговля — самое отрадное занятие в жизни. Совершенно незаметно талеры удваиваются и удваиваются — с четырехсот до восьмисот, с восьмисот — до тысячи шестисот... Чем более крупную сумму он бросает в оборот, тем более крупная возвращается обратно. Вот это — настоящее дело!..

Вчерашнего бедняка величают уже господином Иоганном Гаспаром Энгельсом-старшим, а не «рыжим Иоганном». У господина Энгельса появилось и постоянное место в нижнебарменской церкви...

Успех несомненен. Судьба рода Энгельсов открывает для них новую страницу. Торговец пряжей в короткое время становится солидным капиталистом, умеющим делать деньги из чего угодно. Вуппертальские богачи — пусть сквозь зубы!— все чаще отзываются об Иоганне как об «умном коллеге Энгельсе». Иоганн Гаспар-старший действительно умен, и он уже перестает считать торговлю вершиной своего успеха. Он внимательно следит за жизнью в Англии, часто путешествует по Руру и все отчетливее начинает понимать, что торговое посредничество — детская игрушка в сравнении с промышленным производством. Самая паршивенькая фабричонка куда солиднее любой вуппертальской торговой конторы. Фабрика! Новый капиталист собирает все силы, чтобы стать фабрикантом. Он покупает машины, строит корпус, нанимает рабочих. Его энергия напоминает энергию горьковского Артамонова. Несколько лет напряженного труда, длительный поединок с трудностями — и вот она, фабрика — крупнейшее промыш-

ленное предприятие в Вуппертале! Будущее рода Энгельсов обеспечено.

Жизненный путь Счастливца подходит к концу, и он может умереть спокойно.

Счастливец начал игру с ничего. Его сын Иоганн Гаспар Энгельс-младший, дед Фреда, продолжил ее с капиталом в десятки тысяч талеров. Первые шаги отца не сравнить с первыми шагами сына. Когда Иоганн-старший появился на вуппертальском рынке со своими двадцатью талерами, Бармен покатывался от гомерического хохота. Когда Иоганн-младший заключил первую сделку на десять тысяч талеров, Бармен почтительно склонил голову.

Иоганн Гаспар-младший вышел на вуппертальскую сцену как Цезарь. Он вышел, чтобы утроить богатство, унаследованное от отца, и выиграть важнейшую битву в жизни — битву за положение в обществе. Унаследовав богатый интеллект дедов, сын Счастливца вел игру быстро, точно, смело. «О нем,— пишет Г. Майер,— сохранились воспоминания как об очень умелом торговце». Начав практиковаться еще при отце, он рано понял цену деньгам и биологию их размножения. Это сделало его суровым при сделках и бережливым в жизни — скорее философом, чем артистом. Торговля для него не просто товарооборот, а наука, имеющая свои законы, свои тайны и своих гениев. Иоганн понимал, что, как во всякой науке, успеха добиваются те, кто умеет открывать тайны. А торговля — океан неизвестностей, тайн, которые ждут своих Колумбов. Иоганн Гаспар Энгельс-младший решил стать одним из них...

Торговля шелковыми тканями была первым открытием Иоганна-Колумба. Женщины любят шелка, но в Германии они — большая редкость. Берлин, Дюссельдорф, Гамбург, Кёльн, Лейпциг испытывают настоящий шелковый голод. Шуршащий шелест дорогой ткани, который так тревожит мужские сердца и вынуждает их быть щедрыми. Этого более чем достаточно для наследника Счастливца. По его инициативе фирма «Гаспар Энгельс и сыновья» развертывает крупную торговлю шелковыми тканями и пряжей, что приносит огромные прибыли. Имя Энгельса становится известным всей стране. Его торговая марка украшает рекламы многих магазинов.

Все уже знают, что это солидная марка.

Второе открытие Иоганна-младшего — предупредительное отношение к покупателю. Он никогда не позволяет себе надменно разговаривать с клиентом, как ведут себя напыщенные вуппертальские богачи. Дед Фреда всегда готов часами разговаривать, торговаться, уступать в цене даже такому покупателю, который сегодня не представляет для него никакого интереса. Иной раз он продает товар даже за бесценок, лишь бы завоевать сердце покупателя. Для него одно такое сердце дороже нескольких золотых талеров. Деньги приходят и уходят, а сердце остается. И когда этому сердцу потребуется приобрести еще что-либо, оно непременно вспомнит о фирме «Энгельс».

Иоганн Гаспар-младший — великолепный психолог. С крестьянами он на «ты» и ведет себя с ними даже грубовато (крестьяне любят силу); с горожанами он подчеркнуто либерален и остроумен (господа читают Вольтера!); с аристократами и духовенством

неузнаваемо сдержан (эти не любят возражений). Благодаря красивой внешности (Фред унаследует ее) и разностороннему интеллекту Иоганн слывет самым приятным предпринимателем в Вуппертальской долине. Его фабрика никогда не останавливается из-за отсутствия заказов, магазины не остаются без покупателей. Словно хитроумный волшебник, он всегда в центре торговых дел — там, где ожидается самая сильная буря и самая крупная... прибыль.

Иоганн следует благородной традиции отца — он ценит рабочих. Это не преувеличение и не фальшь. В роду Энгельсов, поднявшихся со дна жизни, долго жила психология трудового люда, сознание того, что им неожиданно досталась крупная награда. Иоганн Гаспар-младший, яркий носитель этой психологии, прослыл как один из самых добродетельных господ в Вуппертале. Он строжайше сохранял прежние патриархальные отношения со своими рабочими, часто и сам работал вместе с ними. Возле его «голландского» дома вырос целый рабочий поселок, в котором раздавался перестук ткацких станков. Многие из домов текстильщиков построены были на деньги Иоганна. В 1796 году этот крупный капиталист открыл первое в Германии бесплатное училище для детей рабочих, а в неурожайный 1816 год, когда пролетариат Берлина корчился от голода, создал специальный союз по оказанию помощи голодающим. Будучи председателем союза, Иоганн Гаспар-младший жертвовал крупные суммы на покупку продовольствия и одежды. Все это создавало вокруг его имени ореол благородства, и, по-видимому, не случайно он занимал несколько почетных должностей в различ-

ных церковных и городских учреждениях Бармена — свидетельство глубокого уважения к нему со стороны барменской общественности.

При Иоганне Гаспаре-младшем фирма «Гаспар Энгельс и сыновья» достигла исключительного расцвета. То была весьма солидная фирма, не нуждавшаяся ни в протекции, ни в излишней рекламе, ни в громких сделках. У нее всегда были склады, переполненные товарами, обеспеченный рынок, устойчивые акции и умное руководство. В лице именно этой фирмы германский капитализм имел своего идеального представителя. После наполеоновских войн и особенно после 1820 года фирма стала господином на текстильном рынке, одним из его дирижеров.

Иоганн-младший, как и отец, умирал в ореоле славы. Мечта его жизни осуществилась: мастерская превратилась в фабрику, лавка стала торговой конторой, контора — фирмой. Крупнейшее текстильное предприятие Вупперталя — собственность рода Энгельсов.

У Иоганна-младшего не было оснований гневаться на бога, и смерть могла бы и подождать...

Перед кончиной дед Иоганн распорядился позвать трех своих сыновей. Один за другим переступив порог, они молча склонили головы перед смертным одром. То были три важных, модно причесанных господина в черных жакетах. В глазах умирающего блеснула тихая гордость: его сыновья — настоящие господа! Будущее фирмы — в надежных руках...

— Господи, ты был так добр ко мне!..

* * *

Еще не смолк звон погребальных колоколов, а в конторе уже началась тайная встреча. В присутствии городского нотариуса господина Биненбауэра сыновья деда Иоганна вскрывают завещание покойного. Его невероятная краткость вызывает тревогу в сердцах нетерпеливых наследников.

«Сыновья мои,— гласит завещание,— сила рода Энгельсов — в его единстве. Будьте едины! Пусть любовь и согласие царят между вами. Никогда и ни при каких условиях не забывайте бога! Вот что хочу завещать я вам, ваш отец и покровитель.

Иоганн Гаспар Энгельс-младший».

Физиономии наследников, освещенные догорающим светом свечи, кажутся зловещими. Неужели миллионер мог оставить такое завещание!.. Это же скандал, нет это хуже скандала — это издевка. Завтра у всего Бармена будет веселенький денек. Последняя шутка старого черта рассмешит хоть кого. А еще через день анекдоты поползут по всей Германии. Вместо миллионов наследники фирмы «Энгельс и сыновья» получили урок благородного поведения.

Действительно смешно!

Сыновья покойного резко отличаются от родоначальников. У них, рожденных в роскоши буржуазного дома, не осталось в душе ни одной возвышенной черточки. Привыкшие с детства чувствовать себя господами, они выросли холеными барами, типичными вуппертальскими денди с нежной кожей рук, напомаженными волосами и черствыми, алчными сердцами. Вся тройка — представители того нового

поколения капиталистов, которое не испытало трудностей старта, которое все больше и больше отрывалось от рабочего люда, ограждало себя кастовыми законами феодальной аристократии. Из их сознания уже выветрились воспоминания о трудовом происхождении прадедов, но укрепилась глубокая вера в родство капиталистического класса с божественным началом. Во всех их манерах господские повадки — от случайного жеста до волчьей морали, все подчинено одному — эгоизму. У них нет смелости своих предшественников, но развиты хитрость и расчетливость; открытому фронту они предпочитают удары в спину. Рожденные в орлином гнезде, они выродились в воронье, особенно это относится к двум младшим сыновьям.

Некоторое время братья Энгельсы работают под одной крышей. Ничем не похожие друг на друга, они напоминают парижских консулов 1800 года — живут без любви, но играют роли влюбленных. Подобная игра необходима прежде всего для того, чтобы поддерживать реноме фирмы. От него зависят ее авторитет, ее решающее слово в борьбе за выгодные сделки. Нотариус Биненбауэр — единственный человек, которому ведома мрачная истина. Между его новыми господами давно нарастает заботливо маскируемая вражда. Трех алчных капиталистов, трех честолюбцев, недовольных сорвавшимися замыслами, символическое завещание бесит. Трех наследников, мечтавших о собственных путях-дорогах, принудили покориться благочестивому желанию.

Впряженные в одну колымагу, братья тянут ее в разные стороны. Старшего манит Англия — у него

серьезные деловые связи с далеким Манчестером. Средний ищет счастья во Франции — по его мнению, французский рынок — самый солидный во всей Европе. Младшего влечет восток — не покоренная Наполеоном Россия, способная поглотить изделия всей европейской текстильной промышленности. Каждый был твердо убежден, что, если фирма намерена продвигаться вперед, она должна выбрать именно его дорогу, и ни один из них не соглашался поступиться своим мнением. Мало-помалу между братьями учащаются скандалы, сокращаются их доходы. Дела фирмы «Энгельс и сыновья» начинают прихрамывать. Плодам предприимчивости предыдущих поколений угрожает катастрофа.

И она наступает.

После одного из взрывов несговорчивые компаньоны решают разыграть между собой фабрику и контору. Пусть слепой случай решит тот спор, который не в состоянии решить они сами! Старик Биненбауэр торжественно снимает с головы цилиндр и кладет в него три биллиардных шара — два белых и красный. Белые выигрывают, красный теряет. Еще несколько минут, и самое солидное предприятие Вупперталя и всей Южной Германии будет разодрано в клочья.

Одна за другой дрожащие руки братьев опускаются в атласный цилиндр. Шаг назад. С глаз срываются повязки. Жребий вынут. Биненбауэр смущенно улыбается. В руках старшего ярко-красный шар.

Фридрих Энгельс-старший, первородный сын Иоганна-младшего, лишившись своей доли наследства, навсегда покидает семейную контору Энгельсов... Фирма «Энгельс и сыновья» перестает существовать.

* * *

Отец Фреда, пожалуй, одна из самых противоречивых фигур в роду и, быть может, поэтому одна из самых интересных. Фридрих Энгельс-старший что-то вроде межевого столба между двумя поколениями Энгельсов, вобравшего все добро и зло гения их семьи. В нем слились древняя сила ремесленников, отбеливавших пряжу, и господская утонченность, величественная поза артиста и хищный профиль торговца. В этом человеке не было чистых тонов и ясных линий, весь он — клубок противоречий.

Внешний облик Фридриха-старшего весьма примечателен: представительная фигура, круглое мясистое лицо, обрамленное пышными рыжими бакенбардами. В голубых глазах выражение высокого интеллекта, сознания собственного превосходства. Руки — длинные и крупные: ведь его деды вели борьбу с неподатливой землей. Голос — громоподобный бас, заглушающий даже грохот машин.

Господин Фридрих Энгельс обычно носил узкие брюки в полоску, белую шелковую рубашку и цветной галстук, заколотый жемчужной булавкой. Он часто бывает в Англии, и моды лондонских денди ему не чужды. Как и денди, темно-синие жакеты он предпочитает светлым фракам. Как и денди, он любит на ходу поигрывать тонкой лакированной тростью, украшенной тяжелым серебряным набалдашником. Отец Фреда — один из элегантнейших господ в Вуппертале, который умеет с достоинством показать господскую изысканность.

Это волевой человек. У него суровый характер, чего нет у младших братьев, характер, который так

ценится в противоречивой атмосфере капиталистического бытия. Именно благодаря характеру трагический жребий не сломил его. Больше того, роковой шар помог ему мобилизовать всю волю, собрать новые силы, разжечь всю страсть для борьбы за возврат потерянного счастья, пробудил стремление к самостоятельной жизни.

Прошло совсем немного лет, и первородный сын Иоганна-младшего снова стал собственником капиталистического предприятия. Вместе с братьями Эрмен он основал в Манчестере крупную прядильную фабрику под вывеской «Эрмен и Энгельс». Она появилась в начале 1837 года. Четыре года спустя господин Фридрих построил две новые прядильные фабрики — в Бармене и в Энгельскирхене. Это был один из его самых великолепных ударов. Оснащенные первоклассной английской техникой, его прядильные фабрики не имели соперниц во всей Германии. Энгельс снова крупная фигура на германском текстильном рынке.

Воля господина Фридриха оказалась сильнее ударов судьбы. Вместо жребия он нашел для себя самого верного и честного союзника — английские прядильные станки.

В отличие от отца, деда и прадеда, в груди господина Фридриха билось ледяное сердце. Следуя влиянию злого духа пиетизма, он жесток в отношениях с людьми, не способен простить ни одно человеческое прегрешение, тем более ошибку. Нравственный кодекс модернизованного кальвинизма — его символ веры. Господин должен учиться только у господа бога.

А разве бог милостив?..

Ледяное сердце господина Фридриха дает знать о себе всюду. Дома он — настоящий диктатор, в торговом деле — демон. Милейшая супруга и восемь славных детишек вздрагивают, заслышав отцовский голос. Весь национальный рынок со всеми его крупными дельцами подчинен воле господина Фридриха. Испытав горечь жребия, он стал непоколебимым в своей экономической политике. Его девиз: бей слабого, пока тот слаб, ибо завтра он может стать сильным. И Энгельс с поразительной последовательностью побивает соперников. Любой его удар — нокаут. Силу этих ударов испытали на себе и оба его брата. Сперва они посмеивались над Фридрихом, над его титаническими усилиями повернуть кормило судьбы. Очень скоро смех сменился причитаниями, слезами, мольбами о снисхождении. Новейшие английские машины господина Фридриха выигрывали состязание с давно зарекомендовавшими себя, но тихоходными станками деда Иоганна. Впервые в истории рода удача одного несла несчастье другим сородичам.

Фридрих — ледяное сердце не умел прощать.

Но этот суровый человек не был бездушной машиной. И непреклонная воля, и жестокость уживались с такими чертами, которые выделяли его как одну из самых ярких фигур своего времени. Как и многие вуппертальские пиетисты, он почитал бога, но не превращал почитания в культ. Фридрих-старший считал: христианская вера — кодекс принципов, которые не столько очищают душу, сколько дисциплинируют общество. Он посещает церковь, отчетливо

сознавая, что это его общественный долг. Надо непременно во что-то верить, иначе наступит анархия. Религия для отца Фреда — вино, которое следует пить, но в меру. Всякое пресыщение ведет к отрыву от жизни, к тихому умопомешательству. И он никогда не позволял себе лишнего глотка. Он — капиталист, и потому земное бытие интересует его больше загробного мира. Облака слишком легки, чтобы служить фундаментом даже для одной фабрики. А там, где нет фабрик, промышленности, там вообще пустота... Ничто!

Деловые отношения с религией позволяют господину Фридриху шире смотреть на жизнь. Потомок древних скитальцев любит путешествовать, искать, открывать. Долина Вуппера слишком тесна для его динамичной натуры. Почти ежегодно он бывает в Париже или Брюсселе, Амстердаме или Лондоне, Вене или Триесте. Его сокровенная мечта — махнуть как-нибудь и в Новый Свет. На земле столько дорог, столько чудес, а господину Фридриху так нравится путешествовать!..

Но при всей своей непоседливости и неугомонности этот крупный капиталист никогда не пересекал континент просто так, как турист. Он всегда путешествовал только в качестве торговца, умевшего сочетать приятное с полезным. Парижские бульвары, разумеется, привлекательны, но еще привлекательнее текстильная промышленность в окрестностях французской столицы. И торговые конторы Лондона куда заманчивее его старинных парков. При каждой заграничной поездке господин Фридрих строжайше заботился о деловых интересах. Его чемодан всегда

был набит образцами хлопчатобумажной пряжи, шерстяных тканей, красителей. Что может быть прекраснее, когда каждое его путешествие наполняло душу впечатлениями, а портфель — договорами о новых сделках!

Искусство — одна из привязанностей господина Фридриха. Как ни странно, но этот суровый делец, свыкшийся с грубостями и цинизмом рынка, испытывал истинное благоговение перед шедеврами человеческого гения. Он с восторгом зачитывался произведениями древнейших авторов, клялся, что Рембрандт — величайший человек, он гордился Бетховеном — своим современником. Среди книг его библиотеки был и «Общественный договор» Руссо, и первое иллюстрированное издание «Доктора Фауста». Бывая за границей, он ходил даже в театр. Для него это было настоящим подвигом, ибо среди вуппертальского общества бытовали самые первобытные взгляды на подобного рода зрелища. В Париже он смотрел Мольера и хохотал от души, в Лондоне — Шекспира и плакал как дитя.

И все-таки отец Фреда был истинным немцем и потому больше всего на свете любил музыку — серьезную классическую музыку старых немецких мастеров, ибо только они одни способны стереть грань между небом и землей. Фуги Баха могли заставить его стать на колени, камерные концерты Гайдна, которые он устраивал у себя дома, наполняли душу светлейшими чувствами. Музицируя и сам (он великолепно играл на фаготе и виолончели), господин Фридрих часто ездил в Дюссельдорф, чтобы послушать новую симфонию маэстро Мендельсона или но-

вое произведение господина Шумана. Музыка — единственная сила, способная в любой момент оторвать его от рыночной стихии, от жестокого поединка на капиталистической арене. Биржевой лев становился бессильным перед очарованием музыки.

Где-то в тайниках души господин Фридрих сохранил частицу неповторимой красоты современников Ренессанса.

Отец Фреда — последняя крупная капиталистическая фигура в роду Энгельсов. Этот «последний могикан» из сословия господ на границе века видел и восход и закат великой победы. Может быть, именно поэтому жестокость сливается у него с трагизмом, эгоизм сожительствует с романтикой. Может быть, именно поэтому он являет собой столь же отталкивающую, сколь и привлекательную персону...

Последнее извержение вулкана всегда самое краткое, самое страшное и... самое красивое.

Господин Фридрих Энгельс-старший был одним из таких вулканов.

* * *

Жены Энгельсов резко отличаются от своих супругов. Они подчеркнуто нежны, жизнерадостны, чисты. У них врожденная артистичность, что делает их особенно привлекательными. От своих чересчур деловых мужей они отличаются богатством духовной жизни, которая возвышает их над будничной суетой вуппертальских провинциальных нравов. Жены Энгельсов, как правило, великолепно знают латынь, играют на клавесине или гитаре, любят классические танцы и ненавидят политические споры,

как и разговоры на торговые темы. Старые рейнские сказки волнуют их куда больше исхода любой финансовой махинации. Традиционным балам в Берлине, устраиваемым императором, они предпочитают парижские артистические салоны, где каждая солидная дама может подать руку Делакруа или Листу. Может ли шум берлинского бала сравниться хотя бы с одним аккордом Шопена или строкой Гейне? Как все богатые, но умные дамы, жены Энгельсов поддерживают знакомство с узким кругом интеллигентных друзей, почитающих красоту и спокойствие.

Одной из очень известных женщин в роду Энгельсов была супруга Иоганна Гаспара-младшего — бабушка Фреда. Голландка по происхождению (в жилах внука текло несколько капель и ее крови), она была истой аристократкой. Ее тяжелые каштановые косы, уложенные в высокую голландскую прическу, белоснежная шея, подчеркнутая мастерски вырезанным декольте,— все придавало ее фигуре классические черты. Чаще всего ее можно было увидеть склонившейся над книгой или клавесином. Она вдохновенно читала баллады Вийона[1] и способна была до полуночи наигрывать миниатюры Рамо. Когда она решала повесить в своей комнате еще одну икону, устраивался настоящий художественный конкурс. Фрау Энгельс принадлежала к потомкам фламандских живописцев и не могла примириться с заурядным ликом святого. Икона была для нее, прежде всего, картиной, а картина непременно

[1] Выдающийся французский поэт эпохи средневековья.



Мать Фридриха Энгельса — Елизавета Энгельс (1797—1873).
С портрета середины XIX века



Дом в Бармене,
в котором родился Фридрих Энгельс. Фотография

должна быть исполнена талантливо, чтобы пробуждать восторг у того, кто молится перед ней. Красота, как любила говорить эта голландка, вот истинное лицо бога.

Любовь к искусству старой фрау Энгельс была воспринята и еще больше развита матерью Фреда — Елизаветой ван Хаар. Фрау Элиза — сущий ангел, сошедший на землю, чтобы жить среди людей. В молодости она напоминала сказочную Гретхен, описанную еще братьями Гримм, в зрелые годы — ибсеновскую Сольвейг. И длинные золотистые косы, и сочный рот, и тонкая талия, и прозрачная мраморная кожа рук — все казалось нечеловечески нежным, сверкающим, светлым. Даже будучи матерью восьмерых детей, она оставалась красивейшей дамой Вупперталя. И умнейшей.

Выросшая в семье филологов, фрау Элиза духовные блага ценила превыше любых финансовых успехов мужа. Как и ее отец, ректор ван Хаар, человек огромного темперамента и враг малейшей несправедливости, она обожала искусство и его творцов. Искусство для нее, особенно литература,— источник самых прекрасных переживаний и мыслей. Добрая мать не боялась говорить детям, что, прежде чем научиться торговать, они должны постичь тайны поэзии. Не случайно в день двадцатилетия Фреда она подарила ему произведения Гёте. Подарок милый, но и рискованный. Для вуппертальских пиетистов величайший немецкий поэт, которого фрау Элиза считала своим духовным отцом, был безбожником.

Елизавета ван Хаар любила жизнь и ни на секунду не позволяла смирять свою жизнерадостность

зловещими религиозными канонами. Она не отличалась набожностью и открыто подшучивала над теми, кто был способен, отложив в сторону стихи Гейне, читать евангелие. Она считала глупцами тех, кто не мог понять, что жить — значит мыслить о земном, а не о потустороннем, о начале, а не о конце. Дети любили проводить время с матерью, потому что она никогда не заставляла их читать молитвы или заучивать заповеди. Фрау Элиза была единственным человеком в доме Энгельсов, рядом с которой жили смех, радость, оптимизм. На фоне мрачной вуппертальской действительности, которую время от времени взрывали гневные молнии религиозной нетерпимости, ее духовный облик представлялся необычайно прекрасным и богатым. Эта энергичная женщина, интеллигентная амазонка, читавшая Гегеля, хладнокровно наблюдала за окружающей жизнью.

Для женщины, для жены богача всего этого более чем достаточно.

Фрау Элиза — истинная дочь прогресса. Она передала Фреду свою интеллектуальность. От нее он воспринял блестящий ум, артистичность, подвижность духа. Мать великого человека не могла быть другой.

* * *

XVI век подходил к концу, когда первые Энгельсы вступили на землю Вупперталя. XIX век делал первые шаги, когда родился Фред. Три полных века захватила история рода Энгельсов.

На исходе третьего родился гений...

Церковь

Но кто сумел не пострадать — так это — небо, которое ведет в ад...

Шекспир

НЕЖНАЯ РУКА юноши бежит по белому полю писчего листа. Он пишет:

«...Старики страшно жалуются на молодежь, а она действительно крайне непослушна; но пусть юные идут своим путем: они еще исправятся...»

Вдруг перо замирает. За дверью слышатся шаги, затем гремит строгий голос:

— Уверяю вас, мадам: все это опасно для него! Он еще совсем ребенок, а в карманах сюртука носит такие страшные книги...

Исписанный лист быстро исчезает в столе. Перо летит в окно. По запыленным клавишам клавесина пробегает легкая тень. Нестройные звуки старинной вуппертальской молитвы наполняют комнату. Строгий голос за дверью затихает. Доносится лишь приглушенный женский шепот:

— Фред молится, Фридрих, прошу тебя, не смущай его!

Клавиши продолжают петь. То пианиссимо, то бурно их дрожащие голоса вылетают в открытое окно и медленно подымаются к ясному небосводу.

Поют клавиши, а пара умных голубых глаз с недоумением рассматривает распятие, висящее на стене.

Фред молится? Но ведь это ложь!

Резким движением он с шумом захлопывает крышку клавесина. Его губы шепчут: «Мама, дорогая, твой сын больше не может верить в бога... Ты это должна знать... Он ищет истину. Истину!..»

За дверью уже никого нет. Рука юноши снова бежит по чистому полю писчей бумаги. Он пишет:

«...Кто боится лесных дебрей, скрывающих дворец идей, кто мечом не прорубает себе путь сквозь эту чащу и не хочет поцелуем разбудить спящую царевну, тот не достоин ни ее, ни ее царства... Наш век не признает такого своим сыном...»

В этот самый момент взбешенный отец рвал в клочья «Новую науку» Вико.

* * *

Первым конфликтом в жизни молодого Фридриха был конфликт с богом. Конфликт мучительный. Но ведь Давид победил же Голиафа!

Поединок начался не вдруг и закончился не скоро. То была схватка между только что пробуждавшимся сознанием и вековыми традициями. Поначалу у сознания не было никаких аргументов, кроме еще не устоявшейся веры в истину. Оно походило на птицу, вылетевшую из гнезда в поисках пути к солнцу. А на стороне традиций было все: и власть церкви, и поддержка со стороны государства, и тысячелетние привычки людей. Традиции, выступившие против сознания, походили на гигантскую свинцовую тучу, насыщенную призраками и грозами. Годами сознание-птица отбивалась крыльями от нависавшей тучи. Часто по крыльям сбегали капли крови — горячей крови молодого сердца, жаждавшего освободиться от самой красивой и самой страшной лжи на земле — сказки о боге. Сознание, израненное, измученное, утомленное неравной борьбой, временами колебалось. Но то были колебания, похожие больше на паузы, на передышки, после которых борьба —

еще более жестокая и решительная — начиналась сызнова.

Сознание, однажды завороженное проблеском мысли, уже не хотело возвращаться в тень религиозной мистики. Магия теологии становилась бессильной, она уже была не способна вновь усыпить сознание. Несмотря на угрозу предания анафеме, несмотря на давление общественного мнения, оно настойчиво пробивало себе путь.

Великий освободительный путь!

Детские годы Фреда принадлежали богу. Юный господин Энгельс был самым искренним последователем церкви. Его романтический темперамент и живая фантазия были неиссякаемым источником религиозного вдохновения. Сын Фридриха-старшего — земной херувим, маленький святой, который с трогательной наивностью готов пожертвовать небу все свои детские радости. Позже, уже возмужав, Фред, вспоминая детство и юношество, признавался, что пережил тогда годы глубочайшей веры, подавил все возникавшие в его душе сомнения и горячо молился об «общении с богом» и, не задумываясь, охотно отдал бы тогда все самое для него дорогое.

Вера Фреда была верой ребенка, горячая и щедрая, какая только может зародиться в сердце человека.

Две силы, одинаково могущественные и одинаково активные, одновременно влияли на религиозное воспитание юного Фридриха. Одной из этих сил был отец, другой — дедушка ван Хаар. Обе силы, диаметрально противоположные друг другу по своим характерам (деспотизм Фридриха-старшего противоречил

поэтическому духу деда), в то же время обладали чем-то властным, покоряющим, непреодолимым. Грубая сила первого дополнялась человечностью второго. Там, где встречала сопротивление железная воля отца, свободно шествовала эмоциональная проповедь деда. Продолжительное время дитя жило в плену страха — наказания и — красоты. Суровый пиетизм и артистическая вера делили власть над ним...

Фридрих Энгельс-старший хотел, чтобы его первородный сын — драгоценнейший дар всевышнего — вырос истинным вуппертальцем. Следуя традициям времени, в понятие «истинный» он вкладывал основную добродетель — веру в бога. Строгий отец не жалел ни сил своих, ни времени, чтобы воспитать Фреда в духе истинного представителя вуппертальской церкви. По его требованию ребенок аккуратно посещал нижнебарменскую соборную церковь, присутствовал при всех религиозных обрядах и даже принимал участие в них. Фред знал все протестантские молитвы и песнопения, свободно мог толковать евангелие. Вуппертальцы восхищались его смиренной позой, когда он молился богу, позой, покорявшей своей чистотой и невинностью. Они часто заставали его в церкви коленопреклоненным, с молитвенником в руках. В такие минуты сын фабриканта был похож скорее на неземное создание, чем на обычного ребенка.

Вуппертальцы на цыпочках проходили мимо, боясь смутить покой его души, торопливо крестились и приговаривали:

— Боже, будь добр к этому ребенку!..

— Господи, исполни все помыслы господина Фреда!

Но помыслы «господина Фреда», как бы ни были они чисты, нередко не имели ничего общего с созерцательной позой молящегося. Стоя на коленях с молитвенником в руках и перебирая в уме все, что он сделал за день, мальчик не мог припомнить ни одного сколько-нибудь серьезного греха и просил вуппертальского бога о самом обыкновенном, земном. Он просил его подсказать дедушке Гаспару, чтобы тот не ворошил так свирепо свою огромную баварскую бороду, чтобы бог объяснил маме — мальчик не может всегда вести себя так же прилично, как ведут себя профессора, просил, чтобы бог шепнул дедушке ван Хаару — пусть чаще рассказывает сказки, наконец, чтобы бог внушил папе не так уж грубо и настойчиво требовать исполнения своей родительской воли. Тут Фред по привычке закрывал глаза, с дрожью вспоминая последнюю встречу с ним. Он мысленно видел могучую фигуру отца, склонившегося над ним, слышал его голос, которого побаивался весь Вупперталь. Фигура отца, словно утес, готовый обрушиться на мальчика, сердито шипела:

— Ты мой сын, и ты обязан исполнять все мои желания! Я хочу, чтобы ты был достоин имени, которое я тебе дал. Имя Энгельсов могут носить только благочестивые мужи. Сегодня ты опять читал книгу в тот самый час, который следовало посвятить богу. Это плохо, Фридрих! Даже в твоем возрасте такая нерадивость непростительна!..

Мальчику так и чудится этот клокочущий, строгий голос. И вот теперь Фред в церкви. Он наказан. Ему велено молиться, просить у бога прощения.

Энгельс-старший становился совершенно безжалостным, если им овладевала какая-то идея. В такие минуты он превращался в настоящего пруссака, правоверного лютеранца. Эта черта характера фабриканта проявлялась особенно последовательно, если дело касалось религиозного воспитания первенца. Он требовал от Фреда примерности. Отец не признавал никаких компромиссов. Каждый вечер сын в его присутствии читал молитвы. Каждый вечер он тщательнейшим образом осматривал комнату сына — искал и боялся найти в каком-нибудь укромном уголке «крамольную книжонку». Все это делалось вопреки протестам фрау Элизы, которая тайком от мужа читала Вольтера или Лессинга.

— Мой сын,— любил подчеркивать отец,— это я! Фред должен стать настоящим гражданином, а не антихристом, вроде берлинских вертопрахов...

Склонив голову, Фред молча слушал отца, испытывая и страх перед ним, и жалость к нему. Он следил за нервными пальцами отца, листавшими его книги, роющимися в его постели, в карманах жакета, перебирающими каждый клочок бумаги на его столе, пальцы, готовые скомкать, изорвать в клочья и вышвырнуть в окно даже намек на крамолу. Фред смотрит, и глаза его набухают от слез. Это были слезы израненной детской души, оскорбленного сознания. Фред тяжело переносит отцовские подозрения.

Случалось, что нервные отцовские пальцы отыскивали нечто подозрительное, и тогда «нечто» мгновенно истреблялось. Однажды такая судьба постигла «Эмилию Галотти» Лессинга, в другой раз — «Повесть об ужасающей жизни великого Гаргантюа»

Рабле или оду Шиллера. Когда Фридрих-старший исполнял роль инквизитора, Фред поворачивался к нему спиной, всматриваясь в черное распятие на стене.

— Молись, молись, Фред! Молись, ибо то, что читаешь ты, не угодно ни твоему отцу, ни богу...

— Я, папа, и молюсь за тебя. Дай бог, чтобы он простил тебя за то, что ты делаешь,— решительно заявил однажды сын.

Ответ, прозвучавший как пощечина, вызвал у отца припадок ярости. Заметавшись из угла в угол, он с криком сбежал по лестнице:

— Мадам! Поспешите, мадам! Вы даже не подозреваете, какие святотатственные слова произнес ваш сын!..

История сохранила короткий документ о тревогах Фридриха Энгельса-старшего, связанных с воспитанием сына,— его письмо от 27 августа 1835 года, отправленное строгим супругом Елизавете ван Хаар, гостившей в то время у своего отца в Хаме:

«На прошлой неделе,— говорится в письме, написанном очень нервным почерком,— Фридрих принес домой средние отметки. С внешней стороны он, как ты знаешь, стал несколько вежливее, но все прежние строгие наказания не приучили, по-видимому, его к полному повиновению даже из страха наказания. Так, сегодня он опять огорчил меня: я нашел в его ящике какую-то грязную книгу, взятую из библиотеки,— повесть из жизни рыцарей XIII столетия... Пусть бог сохранит его душу, часто мне становится страшно за этого в общем прекрасного мальчика... До сих пор при всех своих прекрасных качествах он обнаружи-

вал некоторую бесхарактерность и неустойчивость мыслей, которые меня беспокоят».

Когда почтовый дилижанс вез это письмо в Хаме, Фреду было всего пятнадцать лет — грань между детством и юностью.

Гамма наказаний весьма разнообразна — от пианиссимо — многократного повторения молитв и нравоучительных проповедей до бурного кресчендо — отцовской трости. В своем стремлении воспитать Фреда в строгих канонах воинствующего лютеранства отец часто становился настоящим мучителем сына, хотя в глубине сердца, там, где отцовская любовь не соприкасалась с безумством религиозного фанатизма, он относился к мальчику с обожанием. Деспотизм во всем, что касалось религиозного воспитания Фреда, ярче всего раскрывался в противоречивых взглядах самого отца. Себе он позволял либеральничать с церковью и религией, но, если речь заходила о месте и роли той же религии и церкви в жизни сына, отец становился деспотически строгим и грубым. То, что он позволяет себе, не допускает даже для самых близких и категорически запрещает наследнику.

Сочинения Гёте стоят на видном месте в библиотеке отца, но, когда тот же томик он видит в руках фрау Элизы, его лицо багровеет от гнева.

— Благовоспитанная женщина, мадам, рукоделие предпочитает книге!..

Самого его редко можно застать перед семейным распятием, но, если отец замечает, что Фред, проходя мимо распятия, забывает перекреститься, рука угрожающе поднимается над головой мальчика.

— Вернись, сын мой, и попроси у бога прощения!

Каковы же причины внутренней раздвоенности господина Фридриха-старшего?

Страх.

Страх перед идеями младогегельянцев. Страх при мысли о возможном проникновении подобных идей в «рай обскурантизма» — Вупперталь; страх при мысли о возможности их проникновения в его собственный дом, в его крепость, и самое страшное — в сознание его Фреда. Младогегельянские идеи были той самой демонической силой, которая нарушала равновесие духа отца, толкала его совершать такое, что было чуждо его натуре. Это была та самая слепая сила, которая превращала его в деспота, в мучителя своего сына, в лицемерного защитника лжи, в которую он не верил и сам.

Несмотря на все свое свободомыслие, Фридрих Энгельс-старший принадлежал к сословию фабрикантов и уже поэтому был не способен целиком сбросить с себя классовую скорлупу, окончательно оторваться от сохнущих корней вуппертальского общества. Он оставался типичным буржуа, который страшится всего нового, что докатывается и до Вупперталя, того, что ставит под сомнение вечность капиталистической собственности. И против всего «нового», независимо от того, какими путями оно появляется — дорогами бурных общественных вспышек или тропинками сокровенных размышлений, господин Фридрих готов бороться со всей присущей ему неистовой силой. Он ищет союзников в этой борьбе, помощников, опоры. И встречает протянутую руку церкви с ее идеологией, с ее пиетизмом.

Руку, в святость которой он не верил никогда...

При всем своем свободомыслии отец Фреда чувствовал, что вуппертальская церковь обладает огромной силой, она способна поднять заблуждающихся на борьбу против наступления революционных идей. Отец понимал, что христианские легенды, идея смирения — могущественное оружие против всех тех, кто отваживается не ломать шапки перед ним, господином, против тех, кто все чаще собирается группами и повторяет слово «стачка», против тех, кто уводит рабочих из церквей и кабаков, чтобы рассказывать им утопические побасенки о некоем «мире равенства». Именно поэтому фабрикант крепко пожал протянутую ему костлявую десницу церкви, доверив духовное воспитание своего первенца ее слугам. Как всякий практичный буржуа, он тысячу раз согласился бы видеть сына в рясе пастора, нежели в рубахе шиллеровских разбойников.

Радикально мыслящий отец принуждает сына уверовать в бога, прислушиваться к пасторам, презирать светские волнения, думая, будто так он предохранит сына от заразительных прогрессивных идей, от революционных бацилл. Отец читал Гёте, уважал Шекспира, боготворил Бетховена и в то же время, как инквизитор, вышвыривал из библиотеки любознательного сына Лессинга, Рабле, Шиллера. В этой противоречивости его натуры было столько же трагичного, сколько и наивного. Фридрих-старший не мог представить себе света без своих фабрик, без торговли. Ему чудилось, что он способен дойти до сумасшествия при одной мысли, что Фред может свернуть с его пути и увлечься литературой или филосо-

фией, знания предпочесть состоянию. Он хотел, чтобы Фред стал всесильным предпринимателем и никем больше. Хотел этого и потому добровольно отдал сына под мрачную власть церкви, принуждая его больше размышлять о боге, чем о книгах, забавах, о жизни. Отец внушал сыну: прочитать одну молитву и получить за это два талера несравненно достойнее и полезнее, нежели рыться в пыльных книгах какого-то полубезумного мыслителя.

Дух Ренессанса, дремавший в глубинах сознания Энгельса-старшего, бессилен был переубедить фабриканта-воспитателя. Порой, правда, этому духу удавалось сдерживать непреклонность отца, останавливать трость над головой сына, мешать уничтожению книги, позволять Фреду принять участие в светском развлечении. Но такое случалось крайне редко.

В борьбе за ограждение Фреда от революционного влияния новых идей, заливавших Германию тех лет, отец почти с математической точностью предусмотрел все. Сказывались не только его непререкаемая грубая воля, но и хитрый ум. Следует признать, что успех разработанному плану мог быть обеспечен наверняка, если бы у Фреда отсутствовали интеллект, воля, свободомыслие, решительность — те самые черты характера, которые помогли его дедам превратиться из обыкновенных крестьян в крупных торговцев, или если бы Фред не был удивительно твердым, способным и отважным юношей. Развив весьма активную воспитательную деятельность, педагог-отец упустил из виду две детали, которые в конечном счете сыграли решающую роль. Он забыл, что на плечах у сына своя голова, которая, в отличие от многих

вуппертальских голов, мыслит самостоятельно и критически, что она способна выбрать свой жизненный путь, умеет и хочет остаться независимой. И другая подробность — отец упустил из виду обстановку, в которой жил Фред, дух эпохи. Забыв или недооценив эти две особенности, Фридрих-старший тем самым лишился всех ключей к сознанию Фреда. В конце концов он оказался в незавидной роли того генерала, который, осадив крепость противника, не знал, как и откуда проникнуть за ее стены, чтобы добиться победы.

Знамя над крепостью продолжало развиваться...

Но против этой непокорной крепости — назовем так сознание Фреда — наступали войска еще одного генерала. В отличие от полков генерала Фридриха-старшего, предпочитавшего штурм, полки второго генерала занимали более выгодные позиции для атак. Это были миролюбивые войска дедушки ван Хаара, милого и мудрого ректора, который как-то сказал, что бог любит умниц. В строевых порядках его войск не было слышно ни барабанного боя, ни проклятий и наказаний, ни трубного гласа приказа. В строю этих войск шагали мысли Сократа и образы Софокла, псалмы царя Соломона и сентенции Рима, галльские легенды и остроумие Швабии, мудрость Эразма и фантазии Гофмана, мелодии Баха и гравюры Дюрера, скандинавские эльфы и рейнские гномы. Окруженный таким воинством, ярким и великим, дедушка ван Хаар часто появлялся в неприступной крепости как дорогой и желанный завоеватель...

Мысль, огромная и красивая мысль действует убедительнее лакированной отцовской трости.

* * *

За окном ясная зимняя ночь. Огромный особняк Энгельсов спит. Сквозь тюлевые занавески окон в комнаты проникают отблески снежного покрова. Тишина. Лишь время от времени по коридорам проносится кукование кукушки. Старинные часы в комнате отца никогда не спят.

Сегодняшняя ночь — одна из самых счастливых в жизни мальчика. Ему разрешили провести эту ночь с дедушкой, который приехал издалека, из самого Хаме. И потому все так интересно. В камине детской — огонь. На светлых обоях разыгрались веселые язычки пламени, отбрасываемые камином. Мальчик, положивший голову на колени деда, кажется спящим. Но он не спит, нет, не спит! Его большие голубые глаза широко раскрыты. Его взгляд, словно завороженный, не отрывается от огненной рамки камина, и ему кажется, будто теплый, сказочный голос деда доносится оттуда, будто речь ведут вон те огненные языки.

— Так вот, Фред, далеко-далеко на юг от нашей мглистой Германии есть страна, которую наши древние предки называли Элладой. Все в той стране — и люди, и природа, и легенды — было порождено величайшим вдохновением. Ее жители носили одежды, не скрывавшие их красоту, которую они почитали превыше всего; фигуры их были образцом совершенства и грации. Их боги жили среди людей, потому и рождались как все люди — от поцелуя. У каждого уголка той страны своя история, своя поэзия, своя судьба. Над каждым ее жителем витал один бог, в каждом человеке той страны жил герой. Старый Зевс, отец

богов, обитал на снежном престоле на горе Олимп; Посейдон, его брат,— в морских пучинах; Гелиос, хранитель солнца,— в небесных просторах. То была страна, где фантазия и реальность сливались в единый мир волшебства и бессмертия. Прелесть трех Граций жила в образе земной Фрины, мудрость Афины — в мыслях Демокрита, изящество Аполлона — в статуях Фидия, страстность Венеры — в стихах Сафо. Люди там состязались с богами...

Огонь в камине давно превратился в пепел, а дед уснул. Бодрствует только мальчик, сидящий на кровати. Время перевалило за полночь. Только песенка кукушки летит по коридорам, проникает сквозь замочную скважину в детскую и певуче повторяет:

— Покойной ночи, Фред! Покойной ночи, Фред! Покойной ночи...

И, будто отвечая кукушке, мальчик шепчет:

— Есть страна, которую наши далекие предки называли Элладой...

Утром, когда зимнее солнце пробьется сквозь тюлевые занавеси в детскую, оно увидит рядом с головой мальчика большой лист бумаги, исписанный крупным готическим почерком. Солнечные лучи сумеют прочитать только первые, торопливо написанные строки:

«...Эллада — страна пантеизма...».

«...Ее небо чересчур синее, ее солнце чересчур ослепительно, ее море чересчур грандиозно...»

«...Всякая река требует своих нимф, всякая роща — своих дриад...»

Несколько лет спустя, когда мальчик вырастет, он достанет из шкафа этот пожелтевший листок, с вол-

нением перечитает записи, выведенные детской рукой, и обмакнет перо в большую оловянную чернильницу, сохранившуюся еще со времен первых наполеоновских походов. Так из наспех набросанных строк родится начало одного из прекраснейших этюдов, известного сегодня под скромным названием «Ландшафты»...

* * *

Часы, проведенные с дедушкой ван Хааром, были настоящим праздником для молодого Фреда. То были долгие беседы ректора Хамеского университета, человека высокой культуры. Красивая речь деда магически действовала на сознание Фридриха. Эти вечера отбрасывали прочь все дневные заботы и тревоги, залечивали раны, нанесенные несправедливыми требованиями. Как бы взяв мальчика за руку, старый ректор, подобно Вергилию, вел его по тропинкам легенд и преданий, по дорогам истории и весям поэзии. С артистической широтой дед раскрывал перед Фредом древний мир образов, идей, который еще Шекспир нарек миром мудрости и красоты.

От ван Хаара Фред впервые услышал героическую трагедию о Прометее и поэтическое сказание о Клеопатре, предание о создании Рима и биографию великого Ганнибала. От деда узнал он все древние легенды — от легенд о Тезее и стоглазом Аргусе до легенд об Атлантиде. Дед был для любознательного Фреда неиссякаемым источником исторических и литературных фактов, анекдотов, сопоставлений, цитат — источником, который невозможно было исчерпать до дна.

Когда ван Хаар бывал в хорошем настроении, он щедро делился с внуком своим богатством знаний, черпал из их бездонного кладезя все самое лучшее. Часами мог рассказывать он о философии Эпикура и полководческом гении Цезаря, наизусть цитировать большие отрывки из речей Цицерона, декламировать песнь о Роланде, восхищаться преданиями о Зигфриде, рассуждать о житии святого Франциска, играть россыпями хитростей Уленшпигеля или шумно восторгаться эрудицией Монтескье.

Съежившись где-нибудь в уголке комнаты, Фред внимательно наблюдал за высокой наэлектризованной фигурой деда, вышагивавшего по комнате, словно его подстегивали молнии. В такие минуты Фред с неподдельным трепетом вглядывался в деда, весь внешний вид которого — запахнутый тяжелый бархатный халат, развевающиеся белые волосы и сухие, горящие глаза — так живо напоминал ему вольтеровского патриарха Фернея, того самого Фернея, который произнес страстные слова: «Мир должен освободиться от глупости!» Эти слова Фред избрал своим девизом.

Личность ван Хаара была настолько обаятельной, настолько привлекательной, что Фред долгие годы находился под его абсолютным влиянием. В одном из своих детских стихотворений, написанных в 1833 году, внук высказывает нежнейшие чувства к деду, называя его своим духовным вождем. Но особенно сильное влияние дед оказал на религиозное воспитание Фреда. Когда заходила речь о религии, дед из простого собеседника превращался в любимого юношей Вергилия.

В этой области старый ван Хаар был учителем, мудрецом, пророком...

Беловласый ректор из Хаме был глубоко религиозным человеком. Параллельно со своими всесторонними занятиями он живо интересовался Апокалипсисом. То была дань его глубокого уважения к истории религии, к канонам христианской морали. Для него вера в бога была более, чем обычной, личной или общественной обязанностью. Вера была необходимостью для его духа, плодом извечного стремления человека к совершенству и гармонии. Ван Хаар резко отличался от вуппертальских христиан, которые искали в боге «личного друга» — силу, которая помогла бы им добыть несколько лишних талеров. Таких христиан старик называл величайшими безбожниками, людьми, вера которых не пришлась бы по вкусу даже самому Мефистофелю. Дед Фреда был убежден, что там, где религиозные чувства подчинены эгоизму, деловым интересам, там самородное злато добродетелей превращается в обыкновенную разменную монету, в ломаный грош. Вот почему он почти никогда не ходил в церковь, считая, что в тени алтаря большинство молитв становятся слишком конкретными, чтобы перестать быть чистыми, слишком откровенными, чтобы перестать быть искренними.

Как и у большинства выдающихся личностей того времени, у ван Хаара вера в бога покоилась на чисто интеллектуальной основе. Он не искал бога в праздных безднах небес или в церковных обрядах, совершаемых протестантскими пасторами. По его мнению, добрый христианин мог ощутить существование

божественного начала только в творческих поисках духа, только в откровенных размышлениях с самим собой, то есть только там, где нет и намека на лицемерие и жестокость пиетизма. В этом он был близок к рассуждениям Руссо, к принципам французских просветителей XVIII века, открывших проявление божественного начала не под сводами кафедральных соборов, а вне их стен — среди природы, в котле кипучей жизни, в сомнениях и победах гения. Как и просветители, ван Хаар часто обращался к богу со словами: «Великий господин Разума!» Не раз, когда Фред настойчиво просил объяснить, где живет бог, добрый старик касался пальцем лба мальчика и решительно твердил:

— Бог здесь, у источника твоей мысли!.. Только пустые головы ищут его тень в сумраке церквей да в чудесах.

Не в пример Фридриху Энгельсу-старшему старый ректор был яростным врагом всякого насилия над чувствами человека, врагом религиозного принуждения. Для него подобные янычарские методы приобщения к церкви, к христианским истинам были равносильны открытому духовному террору, варварству. Когда на его глазах отец с помощью палочной «педагогики» заставлял Фреда становиться на колени перед распятием, дед бурно протестовал. Он хватал цилиндр и бежал из дому, потрясенный грубым унижением ребенка. Ван Хаар никогда не мог примириться с мыслью, что трость должна служить церкви, что порка — путь, связывающий с небом. Его всегда ужасали жестокие нравы вуппертальского пиетизма, лишавшие человека всех его достоинств,

внушавшие уважение к величию бога вахмистровским рукоприкладством.

Из-за всего этого ректор находился в состоянии постоянного конфликта с барменскими лютеранами и кальвинистами, для которых чужды были интимность и возвышенность в их отношениях с богом. Даже отец Фреда смотрел на ван Хаара с нескрываемым высокомерием, публично называл его «гидальго из Хаме». Вопреки всему и всем ван Хаар был глубоко убежден, что истина на его стороне, и это помогало ему оставаться твердым, как кремень. Он понимал, что умные глазенки Фреда безгранично верят ему, что душа любимого внука жадно следит за каждым изгибом его мысли. В отличие от других, ректор чувствовал, что первенец его дочери — исключительная личность, носящая в себе трепетный знак гения.

* * *

Отношение ван Хаара к религии и богу нравилось Фреду больше, чем инквизиторские взгляды пиетистов. Мысли ректора вызывали в нежной, любознательной душе юноши истинное успокоение.

Среди раскаленных песков вуппертальской пустыни эти мысли казались настоящим оазисом, где Фред открывал самого себя. После гневных проповедей нижнебарменских пасторов и нравоучений отца с дедом Фред отдыхал. Вслушиваясь в взволнованную речь своего Großvater[1], Фред забывал о существовании жестокого вуппертальского бога и, по его собственным признаниям, переносился в мир

[1] Дедушка (*нем.*).

интеллектуальной религии. В этом мире юноша находил самое чистое и самое сказочное, что было в священной истории, то, что помогает человеку стать скорее поэтом и мудрецом, нежели исступленным фанатиком.

Под влиянием деда сын фабриканта искал в религиозных фактах прежде всего красоту, а потом смысл. Легенду он ставил выше хроник. Может, именно поэтому Ветхий завет он предпочитал евангельским притчам. Образ Моисея был для него куда интереснее и привлекательнее евангелистов Луки или Павла. Ни одна христова притча не привлекала его внимания так, как притча о Самсоне и Далиле, как предание о Давиде и Голиафе, как псалмы Соломона. Фред читал Библию, как роман, извлекая из нее пищу для своего богатого воображения. По просьбе внука дед вынужден был десятки раз повторять трагическую историю Содома и Гоморры или горестную историю бегства евреев из Египта. В каждой библейской легенде мальчик открывал нечто огромное, светлое и могущественное, достойное любви и подражания. Открывая евангелие, Фред перечитывал лишь те страницы, которые рассказывали о поэтических преданиях. Его пленяли противоречивый образ апостола Петра и судьба блудницы Магдалины; пропуская историю усекновения главы Иоанна Крестителя, он стремился постичь необузданную душу Саломеи. Юному Фреду казалось, что глубокое сомнение и сильная страсть — неизбежные спутники чистой веры. Вот почему он больше всего любил тех библейских и евангельских героев, которые приходят к мысли о боге в результате глубоких внутренних

конфликтов. Вот почему неверного апостола Фому он почитал больше, чем воинственного архангела Гавриила, ибо Фома олицетворял собой сомнения на пути к истине. Юноша больше сочувствовал раздвоенности Пилата, чем какому-нибудь святейшему великомученику...

Взлелеянный любимым Großvater, Фред уже не мог пассивно относиться к восприятию христианского учения, а с ясно выраженными внутренними симпатиями и собственными требованиями доискивался его источников. Мальчик готов был уверовать лишь в те страницы священного писания, которые совершенно явственно выделяли индивидуальную судьбу мифологического героя, готов был уверовать в те факты, которые вызывали философское и эстетическое волнение, а не бездушное восприятие. Этот почти литературоведческий подход Фреда к истории христианства — плод его общения с мудрым дедом, логический результат всего его воспитания и его девиза — «Бог — это мысль!»

Как полевой цветок тянется к солнцу, так и юная душа Фреда стремилась к сильному духу «гидальго из Хаме». Согретая его живым светом, она набиралась сил и мудрости, чтобы впоследствии навсегда оторваться от отравленной почвы обскурантизма. И никакие ветры, никакие бури не в состоянии были ни остановить роста, ни смять этот полевой цветок.

* * *

До шестнадцатилетнего возраста Фридрих Энгельс был глубоко верующим, подавлял в душе своей малейшие сомнения в существовании бога. То был

период, предшествовавший его конфирмации, духовной зрелости под недремлющим оком церкви. Фред до конфирмации — в полном смысле слова — истинный христианин, «любимое дитя Иисуса». Он терпеливо перечитывает горы богословских книг, у него свой исповедник, он выступает в училище с рефератами на религиозные темы, пишет стихи, посвящая их всевышнему. Несмотря на свой от природы непокорный нрав, юноша с завидной щепетильностью соблюдает религиозную этику и церковные обряды, вызывая восхищение вуппертальского общества. Почти в каждом барменском доме, где есть дети, где игры и непослушание нередко берут верх над учтивостью и духовным совершенствованием, имя и поведение Фреда ставятся в пример. Господин Гребер, один из первых граждан Вуппертальской долины, по-настоящему счастлив, что его сыновья Фридрих и Вильгельм — ближайшие друзья молодого Энгельса.

— Этот молодой человек,— любил повторять старый Гребер,— наполняет мою душу доверием и почтением...

Фред и в самом деле жил в те годы скорее на небе, чем на земле. Подавленный мрачной волей отца, сбиваемый с толку поэтическими беседами деда, он смотрел на религию как на нечто естественное, без чего не проживешь. Независимо от многосторонних культурных интересов, от ненасытной жажды знаний, юноша добросовестно относится и к своему религиозному просвещению. Вместе со светскими книгами, которые в любой момент могут быть конфискованы отцом, Фред читает и «Толкователь Библии» и жития святых. Не один вуппертальский пастор пользовался

библиотекой Фреда, многие из них поражались его осведомленности о содержании каждой книги. Когда сын фабриканта смиренно усаживался на свое место в церкви, пастор старался вести службу так, как ведут ее перед экзаменационной комиссией. Пастор знал, что белокурый богомолец, уставившись взглядом в сложенные на коленях руки, внимательно слушает его, и едва уловимая гримаса пробегает по лицу юноши, если пастор случайно ошибается. Все это создало вокруг него завидную славу среди верующих, предсказывавших юному праведнику большое будущее.

— Ваш сын, господин Энгельс, рожден для престола протестантского папы!

Эти слова, произнесенные однажды в конторе Энгельса-старшего Фридрихом Людвигом Вюльфингом, «величайшим поэтом», прослывшим к тому же и самым большим чудаком Вупперталя, как бы завершают мнение барменцев о Фреде перед его конфирмацией.

Но сколь бы ни было оно правдоподобным, все сказанное доселе не исчерпывало представления о религиозных убеждениях Фреда в те годы. Чтобы картина была яснее, непременно следует упомянуть и о тех начальных, но тревожных конфликтах, которые возникали в сердце Фреда в пору его духовного созревания. Эти интимные конфликты юной мысли пока еще далекий и приглушенный гул, настойчиво предвещающий приближение великой бури...

Часто эти конфликты вспыхивали неожиданно, стихийно и так же быстро исчезали. Они порой напоминали порывы весеннего ветра, налетавшего на

молодой лесок, чтобы напомнить побегам о предстоящей жестокой борьбе за существование. Как ветер обламывает слабенькие ветви, швыряя их в мутные дождевые потоки, так и конфликты надламывали еще не созревшие мысли, случайные порывы. Конфликты рождались порой из-за самых незначительных поводов — отец ли лицемерно осенил себя крестным знамением, в прочитанных ли текстах евангелия встречались противоречия... Малейшая неискренность, нелогичность по отношению к богу смущали душу Фреда, давая толчок для размышлений. Даже великолепные рассказы деда о Зевсе или Браме, Изиде или Магомете ранили душу Фреда.

Он чувствовал фантастичное начало в истории каждого из них и невольно связывал ее с учением о жизни Христа. Из-за обилия поразительно схожих фактов Фреду просто трудно было отделить одну историю от другой. Логический ум юноши испытывал глубокое моральное потрясение, его сознание оказывалось распятым между верой и сомнениями, между истиной и ложью...

А тут еще повседневная вуппертальская действительность, то и дело подвергавшая религиозные чувства Фреда всяческим испытаниям. Случайная встреча с изувеченным рабочим, просящим милостыню, наводила на размышления о христианском милосердии. Но разве милосердие еще существует в Бармене, смущенно спрашивает он себя, если в протянутую руку голодного никто не кладет даже гроша? А ведь мимо проходят солидные фабриканты и упитанные пасторы, мелькают высокие цилиндры служилого люда и туго накрахмаленные воротнички учителей.

Мимо проходит все вуппертальское общество, с благоговением прочитавшее утреннюю молитву и с аппетитом уничтожившее свой завтрак... Фред чувствует при этом какой-то обман, что-то циничное и подлое, противоречащее евангельской нравственности. И вместе с негодованием и обидой в его душе вспыхивает ослепительная молния сомнений, нарушая душевный покой.

Но все эти конфликты еще не в состоянии были вырвать сознание Фреда из-под влияния могущественной власти религии. Все это слишком мелкие инциденты, кратковременные наблюдения. Они, правда, надувают паруса его сознания, но ветер сомнений еще не настолько крепок, чтобы повести его против течения.

* * *

И все же то, чему суждено свершиться, свершается.

После первых капель всегда начинается ливень.

Фреду исполнилось семнадцать лет, когда неизбежная буря захватила его сердце. Ее порыв был настолько мощным, что устоять было просто невозможно. Даже привычка «верить в бога», даже мода «страдать за него» уже не могли помочь. Всесокрушающая буря крошит потемневшие от времени мраморные изваяния, превращая в прах ядовитые цветы религиозных заблуждений. Буря, ворвавшаяся из жизни, из мира истины, вырывает сердце из удушающих объятий пиетизма, овевает его свежим воздухом земного бытия. Одинокому сердцу больно, но свежий воздух целителен. Буря разрушает и творит, умерщвляет и оплодотворяет.

Разрушая «старую родину духа», она воздвигает «новую родину разума», разверзает небеса, чтобы расчистить путь свету.

Колоссальный нравственный перелом, наступивший в жизни Фридриха-младшего в 1837—1839 годах и завершившийся полным очищением юношеского сознания от долголетних религиозных заблуждений, уже не носит случайного характера. У этого перелома глубокие психологические причины, раскрытие и изучение которых позволяют яснее представить себе юного Фреда.

Противоречия между застывшими канонами религиозного мышления и живым, жадным к знаниям умом Фреда — вот что было первопричиной, приведшей к нравственному перелому.

Сталкиваясь с полицейским отношением пиетизма к любому проявлению мысли, вера Фреда претерпевает жесточайшие разочарования. Кандидат в протестантские папы ошеломлен умственной ограниченностью вуппертальских пасторов, предпочитающих «вечный календарь» современной литературе. Он потрясен духовной примитивностью религиозной жизни, где над любым земным чувством, над каждым думающим человеком висит дамоклов меч. Церковь меньше всего уважает избранный им девиз «Бог — это мысль!», считая его фикцией. Постепенно Фред все больше убеждается, что религия сковывает умственное развитие человека, что она не любит тех, кто ищет и открывает новые пути и вершины. Для его созревающего гения, испытывающего крылья перед полетом, всего этого предостаточно, чтобы до глубины души возненавидеть религию.

Не один и не два факта свидетельствуют о глубоких противоречиях между сознанием Фреда и духовной гильотиной церкви. И хотя многие из этих противоречий уже покрыты прахом времени, тем не менее сохранились достаточно яркие рассказы о трагических столкновениях юноши с жестокостью и варварством религиозного фанатизма...

Вот хотя бы три из них.

...Урок по литературе подходил к концу, когда щупленький рыжеволосый Ганс, сын деревообделочника, высоко поднял руку. Класс моментально затих, зная, что этот хитрый парнишка всегда задает господину учителю каверзные вопросы.

— Вчера пастор Коль сказал моему отцу, что Иоганн Вольфганг Гёте — шарлатан, который пишет под диктовку дьявола. Мой отец рассердился и назвал пастора ослом. Меня все это очень смущает, и я прошу разъяснить мне, господин...

Учитель, высокий сухощавый семинарист, затянутый в тесный черный жакет, не желая дослушать вопрос до конца, перебивает:

— Преподобный пастор прав, любезный Ганс! Веймарец Гёте — настоящий безбожник, развращающий помыслы юных. Наша церковь никогда не считала его своим сыном. Мой горячий совет тебе — сегодня же помолиться о спасении души твоего отца...

Перепуганный гневом учителя, Ганс тяжело опускается на парту, как вдруг взволнованный голос рассек тишину:

— Здесь какое-то недоразумение, господин учитель! Поэт, о котором зашла речь, гениален, а небо, говорят, уважает гениев...

Холодные глаза учителя удивленно всматриваются в темный угол. Там, на последней парте, он видит искрящийся взгляд белокурого юноши, который, по-видимому, забыв, где он находится, продолжает:

— ...Неужели возможно автора «Фауста» отлучить от церкви с такой легкостью и... беззаботностью!

— У меня такое ощущение, что господин Энгельс-младший защищает то, что ему недостаточно хорошо знакомо...

Замечание учителя, процеженное сквозь зубы, задело юношу за живое. Он понимает, что ему придется предстать перед учительским советом, но не ответить он уже не в состоянии.

— Я сын немца, господин учитель, и уже поэтому не могу защищать то, что мне чуждо. Смею думать, что сравнительно хорошо знаком с великолепным пером веймарского Гомера. Чтобы вы могли убедиться в этом, позвольте на память прочитать вам несколько страниц из его «Фауста»...

Весь класс оборачивается к последней парте. Учителю хочется сказать «нет», чтобы прекратить спор, но уже льется страстный поток гётевской поэзии. Смелый ученик декламирует:

Я богословьем овладел,
Над философией корпел,
Юриспруденцию долбил
И медицину изучил.
Однако я при этом всем
Был и остался дураком.
В магистрах, в докторах хожу
и за нос десять лет вожу
Учеников, как буквоед,

Толкуя так и сяк предмет.
Но знанья это дать не может,
И этот вывод мне сердце гложет.
Хотя я разумнее многих хватов,
Врачей, попов и адвокатов,
Их точно всех попутал леший,
Я ж и пред чертом не опешу,—
Но и себе я знаю цену,
Не тешусь мыслею надменной,
Что светоч я людского рода
И вверен мир моему уходу [1].

Ученики, восторженно слушавшие Фреда, вскочили с мест и бурно зааплодировали ему. Учитель, растерянный, сконфуженный, осмеянный, метался от окна к двери, опасливо крестясь. В эту минуту он больше всего боялся появления директора и потому, стуча кулаками по кафедре, пытался пресечь поднявшийся в классе шум. С трудом удалось ему перекричать учеников.

— Тише! Да тише... Это безобразие, господа!.. А вы, господин Энгельс, вы меня страшно огорчили. Эта ужасная поэзия не делает вам чести... Ваш благородный отец не возрадуется, узнав обо всем случившемся...

Из коридора донесся звонок. Урок окончен. Оскорбленный, обливающийся потом учитель выскочил в коридор. Вдогонку ему неслись восторженные крики учеников:

— Да здравствует Гёте! Да здравствует Фред!..

[1] Перевод Б. Пастернака.

...На амвоне пастор — доктор Фридрих Вильгельм Круммахер. Взоры богомольцев устремлены на его огромную фигуру в черной рясе. Под сводами церкви гремит голос этого энергично жестикулирующего трагедийного актера:

— Еще тогда, когда я находился в лагере хеттеев и хананеев, я тоже читал нечестивые книги. То были романы разных безбожных писателей, романы, заставлявшие меня трепетать от адских мыслей и плотских вожделений. И вот однажды сам господь бог явился мне во сне. Он открыл мне глаза на подобные безумные страсти...

Фред с матерью сидели перед самым амвоном. Фред, порозовевший от смущения и тревоги, слушает проповедь пастора-артиста, то и дело поглядывая на мать. Госпожа Энгельс, полуобернувшись к сыну, ободряюще посматривает на него: в ее глазах сквозит явно отрицательное отношение к словам пастора. Фред торопливо шепчет:

— Убежден, что пастор за всю свою жизнь не прочитал ни одной светской книги!

По губам фрау Элизы пробегает еле уловимая улыбка. Она словно бы хочет сказать: «Бедный пастор!» Поняв ее, сын незаметно расстегивает сюртук и достает из внутреннего кармана небольшую переплетенную книжицу.

— Может быть, полезно будет дать ему почитать хотя бы вот эту книгу, а?..

Мать осторожно протягивает руку, берет книгу и раскрывает ее на коленях. Лицо ее бледнеет.

— Но эта... Ах, Фред, ты еще очень мал, чтобы читать такое...

— Я не Наполеон, который ненавидел это произведение. Я обожаю этого автора, мама! В книге столько красивого и... столько мыслей...

Госпожа Энгельс машинально кладет книгу на соседнее сиденье и рассеянно смотрит на пастора. Его лицо побагровело от напряжения. Смущенная словами сына, она почти не слышит пастора.

— ...Любой роман,— продолжает греметь тот,— плод сатанинских сил. Вот почему добрые христиане читают только священные церковные книги... Братья и сестры, не поддавайтесь враждебным чарам, бойтесь греховных чувств!..

По традиции проповедь заканчивается восславлением Кальвина. Фрау Элиза быстро крестится и берет сына за руку.

— Пойдем, Фред! Здесь так душно...

Церковь пустеет. Пастор, явно довольный проповедью, спускается с амвона с видом победителя. Случайно он замечает на отполированной скамье перед амвоном небольшой томик.

— Опять кто-то забыл молитвенник!..— возмущается пастор.— Ну и люди. О чем они только думают?..

Круммахер берет книгу, раскрывает ее и подносит к близоруким глазам. С трудом разбирая текст на потертой обложке, читает: «Ма-нон Лес-ко. Роман. Аб-бат Пре-во»... Манон Леско?.. Неужто это возможно?.. В церкви?.. И именно сегодня, когда я... Господи!..

Пастор спешит к сторожке.

— Ганс, Ганс! Бегом сюда, чертов сын!

Будто из-под земли, перед ним появляется тще-

душная фигурка мальчика-горбуна с метлой в руке. Круммахер хватает его за ухо и ведет к той скамье, где он нашел книгу.

— Кто сидел на этом месте, несчастный, когда я произносил проповедь? Говори, кто?..

Перепуганный мальчуган задумывается. Вдруг его лицо светлеет:

— Фрау Энгельс, господин пастор... Фрау Энгельс со своим старшим сыном.

Круммахер, словно обжегшись, отдергивает руку от покрасневшего уха горбуна.

— Господи Иисусе Христе, за что ты так жестоко наказываешь меня?

Горбун, опершись на черенок метлы, с любопытством поглядывает на побледневшего пастора. Еще никогда не видел он своего господина таким растерянным.

...Обед подходил к концу, когда Фред (из восьмерых детей Энгельсов он, как самый старший, по традиции имел право сидеть за семейным столом) обратился к отцу с просьбой:

— Папа, через три дня в Эльберфельде будет гостить фрейлейн Клара Вик. Говорят, что она исполнит пьесы для фортепьяно Роберта Шумана, молодого композитора из Лейпцига...

Господин Энгельс, неторопливо отпив из кружки несколько глотков пива, явно заинтригованный неожиданной для него новостью, проговорил:

— Вик?.. Знакомая фамилия. Не дочь ли это скрипача Фридриха Вика, одного из лучших камер-

ных музыкантов во всей Германии? О ее мастерстве я слышал много блестящих отзывов...

— Мне, папа, очень хотелось бы послушать молодую пианистку. К тому же она моя сверстница...

Громкий кашель прервал Фреда. Пастор Зандер (каждое воскресенье — он гость за столом Энгельсов), выдернув салфетку из-за воротничка на тощей шее, замечает хозяину:

— Светская музыка — слишком опасное увлечение для молодого человека, господин Энгельс. Вам надо быть очень внимательным...

Фред вежливо, но с тревогой в голосе перебивает пастора:

— Но разве существует что-либо божественнее музыки, господин пастор? Мне кажется, что единственный язык, который небо всегда слушает с радостью,— это чистый язык искусства...

Фридрих-старший поглядывает на сына. Окутанный табачным дымом, вьющимся из его длинной баварской трубки, отец неторопливо говорит:

— Дорогой Зандер! На этот раз я должен согласиться со своим не очень-то покорным сыном. Музыка — моя слабость. В этом доме она в почете.

Пастор широко разводит руками.

— Это меня не радует, уважаемый господин Энгельс. Ваш дом славится благочестивостью. Не могу представить себе, чтобы под таким кровом вместе с молитвами звучали и дьявольские мелодии, распространяемые по всей Европе, приписываемые имени какого-то композитора...

— Вы, очевидно, имеете в виду итальянского маэстро Николо Паганини?

— К сожалению, не только его...

Фабрикант многозначительно улыбается.

— Если бы в каждой нашей церкви играл такой маэстро, как Паганини, вуппертальцы уверовали бы в бога с фанатизмом первых христиан... Лет десять назад, если не больше, я впервые услышал этого гения на концерте в Париже. Простите меня, пастор, но дьявол никогда не сумел бы создать такую волшебную музыку...

Фред, почувствовав отцовскую поддержку, смелее вмешался в разговор:

— Пусть пастор Зандер простит и меня, но музыка действует на мою душу куда успокоительнее самых сильных воскресных проповедей...

— Вы слышите, господин Энгельс? Ваш сын готов пойти еще дальше!..

Фрау Элиза, молчаливо пившая кофе, обернувшись к пастору, энергично заявила:

— Фред еще очень молод, чтобы требовать от него разграничения своих мыслей, господин Зандер. А кроме того, он обожает музыку, и потому всякая вольность в отношении к ней может быть прощена ему.

— Вы мать, любезная фрау,— торжественно изрекает пастор,— и я вас понимаю. Но я его духовник и потому хочу, чтобы вы поняли и меня. Сын ваш достаточно умен, чтобы ему многое прощалось. По общему мнению, руководить им должна рука потверже. Иногда избыток ума мешает молодому человеку уважать традиции...

Фридрих-старший удивленно всплескивает руками.

— Как же так, Зандер? Неужели вы сомневаетесь в твердости моей руки?

— Я имею в виду руку вашей супруги,— торопливо поясняет пастор.

— М-да!..

Разговор в присутствии Фреда стал принимать неудобный оборот. Отец бросил быстрый взгляд на сына. Тот встал, молча поклонился и вышел из столовой.

Несколько минут спустя с верхнего этажа донеслись бурные звуки клавесина. Пастор Зандер вопросительно взглянул на хозяев. Легкая улыбка заиграла на губах фрау Элизы.

— Думаю, что этот концерт исполняется в вашу честь, господин пастор.

Зандер хотел было что-то ответить, но Фридрих-старший резко прервал его:

— Тсс! Сын играет Бетховена...

Рассказанные случаи ярко раскрывают интеллектуальный конфликт Фреда с религией. Протестантская церковь, независимо от ее лютеранских или кальвинистских перевоплощений, оказалась неспособной удовлетворить огромные духовные потребности подраставшего гения. Там, где он искал хлеб знаний, церковь протягивала ему холодные камни безразличия. Застывшая в своих аскетических взглядах и формах, протестантская разновидность религии давила на сознание Фреда, как надгробная плита. Религия пыталась парализовать его мысль, требовала самого страшного — отказа от всего светского, люби-

мого, интересного. Вместо крыльев она предлагала ему оковы. Вместо Гёте — житие святой Жермены. Вместо вдохновенных творений Моцарта — молитвенные песнопения пастора Штира. Нечего и говорить о светской философии, над каждой более или менее свободной мыслью которой, как меч, висит вето святого духа. Против Гельвеция или профессора Гегеля церковь выдвигала иезуитщину блаженного Августина. Даже еще созревавший живой дух Фреда был потрясен ограниченностью религиозного мира. Пройдя интеллектуальную школу деда ван Хаара, этот дух хотел жить на свободе, вне клетей церковных догм, среди бурно мыслящей эпохи...

Бунт Фреда против реакционной сущности религии развивался на пути к так называемой чистой истине. Наивные толкования церкви о явлениях в природе и обществе, о начале и конце света очень скоро вызвали у молодого человека отвращение. Ни одно из этих толкований не могло удовлетворить его любознательный ум. Истина о живой и мертвой природе, о происхождении жизни, о механизме Вселенной, о бесконечно далеком и бесконечно близком — вот что, словно магнит, влекло к себе юношу. Он хотел постичь сокровенные глубины истины, пройти хоть сквозь сотню врат, чтобы поцелуем разбудить спящую царевну знаний. И он пошел по этому пути — беспокойный, дерзкий, смелый, готовый пережить тысячи поражений во имя одной-единственной победы, испытать тысячи разочарований во имя полного освобождения.

Мало-помалу засалившиеся от частого чтения церковные книги стали исчезать с верхних полок

библиотеки Фреда. На их место молодой «бунтарь» ставит новые, которые все чаще вызывали у Фридриха-старшего взрывы удивления и возмущения. На полках уже появились «Великое восстановление науки» Фрэнсиса Бэкона и «Диалог» Галилея, «Трактат о свете» Декарта и «Естественная история» Бюффона, «Труды о природе» Дарвина и «Опыт о человеческом разуме» Локка... Произведения натурфилософов давали Фреду куда более удовлетворительные ответы на мучившие его вопросы.

Разгневанный отец несколько раз пробовал выбрасывать из библиотеки сына эти ужасные книги, порождающие безбожие. Но каждый раз его ошеломляло бурное сопротивление Фреда, который вынуждал отца с досадой опускаться на первый попавшийся стул, чтобы вступить в навязанный сыном разговор.

Фред, разумеется, уже не ребенок. Он вырос. Но все же...

— Ты вступаешь на опасный путь, Фридрих! Читаешь только греховные книги. Они все быстрее отдаляют тебя от бога. Ты уже не тот примерный мальчик, которым гордился весь христианский Вупперталь. У меня такое ощущение, что ты начинаешь сомневаться во всем, во что верил вчера...

— Ваши тревоги, папа, неосновательны. Вы сожалеете о том, чему следовало бы радоваться! Да, сегодня я уже не тот, кем был вчера. Но я расту, папа! Вы гневаетесь, потому что у меня неспокойная душа. Вы недовольны, что я во многом начинаю сомневаться. Но ведь еще два века назад Декарт открыл, что сомнение — один из актов мышления. Его

девиз — «Я мыслю, следовательно, я существую!» — это и мой девиз.

— Неужели ты воображаешь, что сомнение способно возвысить дух человека? Неужели религия не дает тебе всего, неблагодарный?..

— Должен признаться, папа, что религия уже почти ничего не дает мне. Я счастлив, что отрываюсь от нее даже ценой страданий. Вот один пример: история религии учит меня, будто Вселенная создана за семь дней, а наука доказывает, что каждый камешек, о который я спотыкаюсь, прожил миллионы лет. Кому же мне верить — церкви или науке? Пастору Йордансу или Лапласу? Прости меня, папа, но я склоняю голову перед Лапласом...

Пока Фред говорил, Фридрих-старший внимательно осматривал сыновнюю комнату. Боже мой, сколько здесь перемен!.. От прежней иезуитской обстановки не осталось почти ничего. Большое распятие затянуто паутиной. На столе, рядом с подсвечником, поблескивает глобус. В одном из углов груда склянок и колб с препарированными ящерицами и летучими мышами, с нарядными бабочками и еще с какими-то насекомыми.

— На кой черт ты собираешь всю эту гадость, господин Сомнение!

Фред, скрестив на груди руки, отвечает:

— Я хочу, подобно Декарту, отыскать истину с помощью естествознания...

Истина! Естествознание! Фабрикант с тревогой вглядывается в сына. Неужели это говорит он, его сын, его Фридрих?.. Неужели революция... О, это уже слишком!

Голос фабриканта дрожит от негодования:

— Что за фантазии, Фред! Ты уже достаточно повзрослел, чтобы подумать о чем-то более серьезном. Неужто сын фабриканта способен уподобляться лунатику?.. Через несколько месяцев я введу тебя в дело. В торговой конторе — вот где ты должен искать истину! Там твой естественный мир! Там...

Фред медленно поднимает голову:

— Моя судьба решена, папа! Я не хочу торговать. Я хочу творить... Я еще не знаю, как это делается. Но религия все дальше и дальше отходит от меня... Литература, искусство, наука — вот что влечет меня теперь. Не мешайте мне идти своим путем. Верю, что именно этот путь приведет меня к истокам истины, которую я ищу...

Трость фабриканта взлетает в воздух. Он больше не способен слушать подобные мысли своего мальчика. Ежась под ударами трости, будущий автор «Диалектики природы» бросает в лицо взбешенному отцу:

— Как вы наивны, господин!.. По спине Наполеона, впрочем, тоже гуляла трость...

Вот так, медленно, но верно наука вымывала из сознания Фреда муть религиозного мышления. Собственные слова юноши (написаны в 1840 году) «вы не должны бояться работы духа» (разума) идеально характеризуют его внутреннюю решимость навсегда оторваться от мрачных облаков спекуляции и разряженного воздуха верхних слоев абстракции. И решимость эта такова, что поколебать ее не в силах уже никто и ничто — даже отцовская трость.

Потом Фридрих Энгельс-младший поворачивается спиной к пиетизму и по чисто моральным соображениям. Его аналитический ум очень рано столкнулся с лицемерием и тщеславием протестантской церкви. Юноша как личную трагедию переживал все явные и тайные прегрешения вуппертальских пасторов. Он рано понял, что их жизнь наполнена желаниями и деяниями, которые не имеют ничего общего с благочестивыми взглядами, проповедуемыми с амвонов. Как каждая положительная личность, неспособная к малейшей неискренности, Фред все это встречает с возмущением.

Он никогда не любил и никогда не полюбит тех, кто свои грязные дела прикрывает красивыми сказками.

В Вуппертале почти не было таких пасторов, которые не разочаровали бы Фридриха-младшего тем или иным проявлением своего «духовного» естества. За спиной каждого служителя культа была одна или несколько весьма неприличных историй, какое-нибудь публично отмеченное прегрешение, рушившие у юноши остатки элементарного чувства уважения к ним. Слушая пророческий голос пастора Фридриха Вильгельма Круммахера, Фред невольно представлял себе его невероятную прическу и жирное брюхо, забота о насыщении которого превосходила все наинескромнейшие предположения. Для молодого вероотступника прическа и брюхо «à la Круммахер» стали синонимом человеческой самовлюбленности, той низкой и пустой суеты сует, которая доводит мысли и чувства до полного вырождения. Но еще более ужасающие мысли возникали у Фреда при одном

взгляде на атлетические плечи пастора Юргенса, этого шумливого святоши из прерий, который умеет так ловко улавливать души и... груди богомолок. Не один и не два скандала сопутствовали «тайным» сборищам оного проповедника, пытавшегося воскресить «празднества нагого тела» адамитов. Для юноши «американец» Юргенс — типичный мастер религиозного шарлатанства, увенчавшего свою беспутную жизнь в Эльберфельде серией криминальных преступлений.

Подобные мерзости представлялись молодому Фридриху и тогда, когда он вспоминал о таких столпах вуппертальской церкви, как пасторы Коль, Балль, Герман, Зандер, Хюльсман, Круммахер II (брат Фридриха Вильгельма), Дёринг. Один тупее и наглее другого, все они — носители грубых пороков и невоздержанности. Для Фреда Коль — плагиатор, Балль — сребролюбец, Герман — эксплуататор, Зандер — лицемер, Хюльсман — лжец, Круммахер II — эротоман, Дёринг — торговец душами. Для него все они — живое ниспровержение норм христианской морали, все это — человеки, чья жизнь подобна зеркальной поверхности озера, под которой кроется мир тайны, водорослей и гадов...

Нравственный бунт Фридриха Энгельса-младшего против морального двуличия вуппертальских пасторов до конца испепеляет так долго прививавшееся ему уважение к церкви и вере. Он взорвался с такой всеуничтожающей силой, которая в пух и прах разнесла даже самые прочные опоры религиозного культа в душе юноши. Лицемерие и ложь — будь они даже высшего, «божественного» происхожде-

ния — не могли встретить ни сочувствия, ни признания в сердце Фреда.

Рожденное для великих дел, его сознание с презрением отворачивалось от них и протягивало руку к истине.

Чистую руку разума, искренности...

* * *

Тихий июльский вечер 1838 года. Фред и два его ближайших друга — братья Греберы — сидят на берегу сонного Вуппера. Вильгельм Гребер, глядя на звездное небо, чуть слышно произносит:

— Где-то там, выше этих небесных светил, царство божие.

Фред громко захохотал:

— Ошибаешься, Вильгельм! «Где-то там» ничего нет, кроме новых планет, новых звезд, новых систем, новых вселенных...

— А за ними?..

В голосе Вильгельма звучит лукавая нотка абсолютной уверенности.

— За ними?.. Этого «за ними» не существует, дружище. Все это — плод нашей фантазии, людской привычки всюду искать конец чему-то... Вселенная бесконечна и безначальна, как кольцо, как ноль. И под нами, и над нами, и вправо, и влево от нас нескончаемый поток миров, материи и ничего больше.

— Ты, Фред, рассуждаешь, как безбожник. Какой еретик подбросил тебе такие опасные мысли?..

Фред опять хохочет:

— Должен доверить вам, дорогие братья, свою тайну: я давно безбожник! Когда смотрю на небеса, я

думаю уже не о своей душе, не о рае или аде. Я думаю о величии естества материи...

— Материя? Что это за штука, Фред? Уж не считаешь ли ты, будто мысль тоже материя?

Фред становится серьезным.

— В том и беда моя, господа, что я, к сожалению, не могу объяснить вам, что же такое представляет собой материя. Для меня ясно сейчас одно: материя существует помимо нас, независимо от бога или дьявола, она всюду, она порождает и жизнь и смерть. Остальное для меня пока загадка, перед которой я все еще стою бессильный и растерянный...

Фридрих Гребер перебивает бунтаря:

— Не считаешь ли ты, несчастный, будто эта загадка и есть сам бог, само чудо?..

Фред с досадой отмахивается:

— Брось эти глупости, Фридрих! Ничто не может быть загадкой. Я говорю о той великой загадке, открытие которой распахнет перед нами все тайны природы. Наука стремится к ним всю жизнь — со времен египетских звездочетов. К этим тайнам стремлюсь и я. Дай бог, чтобы мне хватило сил достичь цели и не пасть жертвой новых заблуждений...

Вильгельм и Фридрих Греберы молча крестятся. Будущие пасторы не верят ушам своим. Впервые Фред так говорит с ними. Вильгельм, дружески обняв приятеля за плечи, сочувственно убеждает его:

— Фред, дорогой мой, ты даже не сознаешь, что говоришь. Ты стал жертвой какого-то обмана. Ты в плену устрашающих мыслей, которые толкают тебя...

— Нет, Вильгельм, нет, дружок! — возражает Фред.— Я еще никогда не чувствовал себя таким

свободным, как сегодня. Да, я был в плену, был рабом. Но сегодня я не раб. Я — бывший раб. Сегодня я праздную день своего освобождения от рабства...

Фред снимает цилиндр, вскидывает голову и, глядя на звезды, громко и торжественно произносит:

— Слушайте, братья Гребер! Слушай и ты, грешная долина, заснувшая под сенью креста! Слушайте и вы, звезды, и вы, далекие миры! Я, Фридрих Энгельс-младший, заявляю вам и всему миру: бога нет, бог — легенда, бог — ложь!.. Я провозглашаю: да здравствует Разум, да живет беспокойная человеческая мысль!..

Эхо все дальше разносит слова Фреда над тихими водами Вуппера. Оцепеневшие братья похожи на изваяния.

Фред, отбежав на несколько шагов вперед, оборачивается и, помахав им рукой, скороговоркой произносит:

— Adio, adieu, adios [1], друзья! Освобождающийся дух грешника желает вам покойной ночи...

---

[1] «Прощайте» *(ит., франц., исп.)*.

Училище

К величайшему огорчению отца, по ночам сын сочинял стихи, хотя обязан был заниматься коммерческой перепиской...

Вальтер Скотт

УНТ ПРОТИВ БОГА — всего лишь начало. Величайший пролог освобождения. Первая волна, первое сражение, первая победа. Бунт против училища — продолжение. Вторая волна. Вторая победа.

Еще не утихла первая вспышка, как началась вторая. Продолжение зарождалось в утробе первой.

Долгое время оба бунта сливались один с другим, одинаково сильные и сложные. Никто не знал, где проходят границы гневной империи вуппертальской церкви и откуда начинается послушная провинция вуппертальского училища.

Но какими бы неясными ни были истоки первого бунта, извивающиеся следы второго тянулись в правильном направлении. Начавшись у семейной скамьи возле амвона нижнебарменской церкви, они ведут к классу в реальном училище Бармена.

Отсюда следы идут вдоль течения Вуппера и появляются на пороге эльберфельдской городской гимназии. Это следы трудного подъема и развития. Следы большой борьбы, в которой каждая победа — победа разума.

* * *

Вуппертальское училище, униформистское «альма-матер», сыграло важную роль в судьбе многих поколений, живших на берегах этой реки. Вместе с церковью оно часто задавало тон общественному мнению в Бармене и Эльберфельде. Каждое сильное слово, вырывавшееся за его высокие стены, способно было надолго нарушить покойную жизнь «зеленых дворян», тем более если это слово касалось полити-

ческих событий в Берлине или какой-либо важной вуппертальской персоны. Почти нигде в Германии училище не было так тесно связано с обществом и сплетнями, как здесь, в долине Вуппера.

Происходило это потому, может быть, что слишком замкнутым был мир, в котором жило большинство вуппертальских граждан, а может быть, из-за модной в те времена страсти в каждой мелочи искать проявления большой политики. Так или иначе, но вуппертальское училище никогда не оставалось за бортом «событий дня», в стороне от тех шумных и сложных жизненных коллизий, которые превращали «священную долину» в мир высоких амбиций и... низменных устремлений.

Контролируемое церковью, подчиненное ее власти, училище считалось весомой общественной силой, способной кого угодно возвести на пьедестал или, наоборот, сбросить с него. Училище со своей высокой кафедры навязывало обществу такие мысли или толкования, которые сплошь и рядом не имели ничего общего с его педагогической компетенцией. Однажды оно направляло кампанию по выборам нового мэра не то в Гемарке, не то в Лангенберге, в другой раз — создавало общественное мнение вокруг статьи доктора Мартина Рункеля в «Эльберфельдской газете», но чаще всего — в связи с дебатами о новых ценах на текстиль, обсуждавшихся в Дюссельдорфском ландтаге. Нередко классные комнаты училища превращались в бурные дискуссионные клубы. Преподаватели и ученики (сыновья торговцев, фабрикантов или ремесленников) оживленно спорили по поводу той или иной производственной или рыноч-

ной проблемы. Как правило, ни одна из таких дискуссий не ограничивалась училищными стенами. Как только умолкал последний школьный звонок, ученики спешили к родителям, учителя — к пасторам. То, что оставалось невыясненным в классе, необходимо было до конца разобрать в конторе или... в церкви. Так незаметно и быстро страстная дискуссия в училище становилась достоянием общества, проникала даже в самые невзрачные хижины. Под вечер спор вырывался за пороги контор и церквей, чтобы с еще большей силой вспыхнуть на перекрестках при свете керосиновых фонарей или за зеленым биллиардным столом. Раскрасневшиеся, грубые, непримиримые, родители и пасторы швыряют в лицо друг другу одно тяжеловесное слово за другим. Неудержимый хохот торговцев мешается с поповским фальцетом. Залпы насмешек чередуются с визгливой анафемой. Вот так нередко на первый взгляд заурядный школьный спор становился причиной бурных общественных перепалок, перерастал в «дискуссию всего Вупперталя». И это естественно: когда училище волнуют проблемы рынка, рынок не может оставаться равнодушным. Как любил говорить господин Эрмен из Энгельскирхена: «Если кошка начинает играть с клубком шерсти, бабка хватается за кочергу». Вспыхнувший спор завершается обычно ледяным пожеланием «покойной ночи»; если пожелание, высказанное таким тоном, перевести на разговорный язык, оно означает примерно следующее: «Вы ужасно тупы, уважаемый!..» Но случается и так, что спорщики демонстративно поворачиваются друг к другу спинами, воинственно вскинув над головами

трости, искренне сожалея об ушедших в прошлое дуэлях...

Общественная активность вуппертальского училища вспыхивает при любой благоприятной обстановке. Эта активность отыскивает множество путей и форм, чтобы показаться на улице, ворваться в дом, нарушить атмосферу спокойствия. Один из этих «бесчисленных путей» — неофициальное, но почти повседневное общение училища с магазинами и конторами на торговых улицах Бармена и Эльберфельда. Порожденное хитроумными головами некоторых учеников, подобное общение производит огромный психологический эффект, часто являясь первоисточником длительных пререканий между целыми слоями общества.

Почти каждая уважающая себя торговая фирма в этом краю имеет среди школьников училища своего верного, всезнающего представителя, своего фискала, готового за кружку пива или за несколько медяков безупречно исполнять роль мелкого доносчика. Как правило, фискалы появляются в магазинах и конторах перед заходом солнца, когда перезвон церковных колоколов призывает богомольцев к вечерне, то есть через полчаса после школьного звонка. Отвесив молчаливый поклон и демонстративно перекрестившись, фискал — представитель фирмы — со смиренным видом застывает в одном из уголков потемнее. Вся его поза излучает что-то среднее между послушанием и таинственностью. Поблескивают только хитрющие глаза, словно бы напоминая о своем существовании. Как только последний посторонний покидает помещение, между фискалом и хо-

зяином завязывается своеобразный диалог, который можно передать примерно так:

Х о з я и н. Да поможет нам бог, молодой человек! Живем в такие времена, когда тебя стараются обмануть на каждом шагу, когда лжецов больше, чем торговцев...

Ф и с к а л. Господь бог не обидит вас здоровьем, господин! А кто лжет, пусть у того отсохнет язык!

Х о з я и н. Хорошо сказано, дружок! Сразу видно, что воспитывают тебя умные учителя...

Ф и с к а л. Жаловаться не могу, уважаемый господин! Мои учителя знают многое, больше, чем думают некоторые...— и хитрющие глаза загораются загадочным огоньком, а у хозяина — назовем его господином Мюллером — жадно вытягивается шея.

Х о з я и н. Говори яснее, мой мальчик! Как понимать «больше, чем думают некоторые?..»

Ф и с к а л. Можно и яснее, господин Мюллер. Сегодня, например, у нас был урок по древней истории. Вел его старший учитель господин Иоганн Якоб Эвих. Закончив рассказ о Троянской войне, он добавил на латинском языке: «Conscientiac potius quam famac attenderis». Если эту фразу перевести на наш, вуппертальский диалект, она означает: «Вслушивайся в голос своей совести, а не в голос молвы!» (При этом фискал многозначительно подмигивает.) А если ту же фразу перевести на наш, школьный язык, она приобретает совершенно иной смысл.

Х о з я и н. Короче, яснее, молодой человек!

Ф и с к а л. Яснее и не скажешь, почтенный господин! «Прислушивайся к голосу молвы, а не к совести!» И господин старший учитель, действительно,

тут же поведал нам такую новость, которая ошеломляет своей...

Хозяин (нетерпеливо). Слушаю, слушаю, мой умник! Я весь внимание!..

Фискал. Новость столь грандиозна... Она куда дороже кружки мюнхенского пива...

Хозяин (разводя руками). За мной дело не станет, хитрец! Хватит и тебе, и для твоих друзей... Бочонка не пожалею!.. Говори же...

Фискал. Великолепно, господин Мюллер! Ваша любезность и отзывчивость обязывают меня ко многому. Итак, долговязый Иоганн сообщил, что позавчера в Дюссельдорфе была заключена «историческая» сделка между вашим конкурентом американцем Эрихом и лондонским купцом Джонатаном Грейвом. Англичанин направлялся в Бармен. В его кармане была рекомендация, адресованная вашей фирме, но Эрих перехватил его в корчме, что возле дюссельдорфского моста, и предложил отличную сделку. Как изволил выразиться наш учитель, американец сумел всучить даже крыс, расплодившихся в его старых складах, где он хранил пряжу. Грейв в виде аванса вручил американцу чек на семнадцать тысяч берлинских марок...

Шея хозяина раздулась от прилива крови. Господин Мюллер (добрый господин Мюллер!) вдруг стал походить на преступника, готового совершить убийство. Кровавая пелена заволокла все вокруг. Это был самый страшный взрыв гнева — гнева обманутого торгаша.

А фискал, будто ничего не заметив, продолжает докладывать...

Х о з я и н. Хватит!.. Хватит, злодей!.. Страшная новость. Если все это правда, я готов публично признать, что ваши учителя — ясновидцы. Мой провал, точнее, мое несчастье им стало известно раньше, чем мне. Только дьявол мог стать их слугой!..

Ф и с к а л (иронически). Теперь вы убедились, господин Мюллер, что мои учителя часто о многом знают больше, чем это возможно?

Х о з я и н. Я убедился в одном: Эрих — мошенник! Я давно подозревал его в нечистоплотных делишках, но только сейчас поймал его за руку. Должен откровенно сказать: не поздоровится ему! С утра натравлю на него весь рынок. Завтра Бармен полюбуется, какой пух полетит из этой американской птахи...

Разговор заканчивается, как и начался — неожиданно: новость доставлена и передана. И фискал и хозяин получили то, что им было необходимо: фискал — пиво, хозяин — сведения.

Полупоклон одного, полублагословение другого, нечто похожее на выражение взаимной признательности, и... ученик выскакивает на улицу. Через несколько размашистых шагов он в нерешительности остановился, весело взглянул на лакированные остроносые ботинки и небрежно и громко воскликнул:

— А куда теперь, господа?.. В «Золотой меч» или в «Рейнский стрелец»?

Хозяин, оставшись наедине, дал полную волю гневу. Контора содрогалась от диких проклятий обманутого и оскорбленного торгаша. Проигрыш настолько очевиден, что герр Мюллер забывает о каких бы то ни было границах приличия. Он ругается, как последний извозчик, угрожает, как пастор, призы-

вает на помощь святых, стражников, даже дьявола. На крики сбегается шумная толпа зевак. Громоподобный бас Мюллера подымает на ноги всю улицу. Минут тридцать спустя тревога овладевает уже всем городом. Один из самых крупных вуппертальских торговцев стал жертвой надувательства. Это неслыханно! Виновный должен быть разоблачен и наказан! Наконец-то у Вупперталя есть повод, чтобы дать по носу этому американцу.

В тот вечер в пивных и конторах Бармена допоздна не гасли огни. Возбуждение «зеленых дворян» достигло крайнего предела.

Общественный скандал угрожал взрывом, скандал, порожденный болтливостью какого-то там старшего учителя и пересохшей глоткой нагловатого ученика...

Рассказанный пример типичен для вуппертальской действительности. Этот случай великолепно раскрывает неофициальные связи между училищем и торговым миром в долине. Эти тайные, но вечно живые деловые связи дают возможность вуппертальской «альма-матер» быть в одно и то же время и «храмом крайних добродетелей» и «торжищем публичных сплетен»...

* * *

Впрочем, любой разговор об училище в Бармене или Эльберфельде был бы не полным и односторонним, если не коснуться характеристики господина вуппертальского учителя и господина вуппертальского ученика. Дело в том, что персоны этих господ, несомненно, самое яркое явление в истории училища.

Прежде всего следует предупредить о безграничной привязанности вуппертальского Herr Lehrer[1] к протестантской церкви. Бывший поп, семинарист или церковный настоятель — один из самых доверенных лиц реформатской общины. Он насквозь пропитан суровым духом долга перед церковью, тем скрытым и мрачным чувством пиетистской жестокости, которая, как гнет, давит на любую свободолюбивую мысль. Затянутый в узкий пасторский сюртук, всегда чисто выбритый, с коротко подстриженной головой, учитель больше всего напоминал стендалевских иезуитов из Безансона. Что бы он ни преподавал — литературу или историю, латынь или французский, математику или естествознание,— он прежде всего пекся о религиозном воспитании своих учеников. Не задумываясь, он превращал школьную кафедру во второй амвон христианской мысли, в трибуну, с которой строгим голосом больше говорил о небесных явлениях, нежели о земных делах. По выражению Энгельса, его голос чаще всего защищал «истины» и «теории», рожденные еще во времена блаженной памяти курфюрста Карла Теодора, то есть во времена феодальных замков, рыцарских конюшен и придворных звездочетов. Из рассуждений вуппертальского учителя почти ничего невозможно было почерпнуть об идеях эпохи, в которую он жил, о той буре мыслей и чувств, которые сотрясали Германию в первой половине XIX века. Взгляды учителя, целиком подчиненные церкви, оставались взглядами представителя средневековья, чудом спасшегося от гильотины революции

[1] Учитель (*нем.*).

и прогресса. Его идеология, затянутая в черный долгополый сюртук пиетизма, выпускала когти при каждом, пусть даже случайном соприкосновении со свободной мыслью или новыми взглядами эпохи. Вуппертальский учитель похож на одну из тех мифических хищных ночных птиц, которые по утрам с криками налетают на солнце, пытаясь выклевать его лучи. Забаррикадированный духовной отсталостью, этот учитель — яркий представитель той части старой немецкой интеллигенции, которая цепко держалась за традиции, предпочитая изъеденные молью парики Реставрации красной шапке революции.

Наш Herr Lehrer не только пиетист, но еще и человек с определенными политическими симпатиями. Посланный Пруссией на берега Рейна, этот вышколенный слуга Фридриха Вильгельма III глубоко верил в священную роль монархии. Для него государство его величества — крепчайшая сила на земле, способная поддерживать равновесие в обществе, а при необходимости и восстанавливать его. Вот почему вуппертальский учитель ненавидел, например, республиканские вспышки Гейне, но запоем перечитывал труды государственного профессора Фридриха Вильгельма Шеллинга. Вот почему этот учитель часами мог говорить о «золотом веке» Карла Великого и галопом проскакивать страницы Великой французской революции. Он проклинает Сократа и боготворит Цезаря, терпит Вольтера и критикует Руссо, ненавидит Шиллера и преклоняется перед Шатобрианом; прославляет «Эльберфельдскую газету» и преследует «Барменский вестник»; Лондон предпочитает Парижу; чаще поглядывает на восток,

чем на юг. Монархические чувства учителя столь сильны, что ничто не в состоянии ни сломить, ни отклонить, ни смутить его. Власть короля, императора следует за властью бога. Для учителя эта истина настолько естественна, что она даже не нуждается ни в каких доказательствах! Он не представляет себе Германию без берлинских дворцов Фридриха Вильгельма III, как не может представить ее без Рейна. Его излюбленная фраза, которой он начинает или заканчивает свой урок: «Господа, возблагодарим бога, давшего нам императора, и императора за то, что у нас есть Германия!» После столь торжественной тирады ученикам не остается ничего другого, как встать и с пафосом спеть популярную песню: «Нашего короля зовут Фридрихом...»

Политические взгляды вуппертальского учителя, этого стопроцентного пруссака, ярче всего проявляются в откровенном национализме. Если же говорить без обиняков, он первоклассный шовинист, искренне верящий, что Германия действительно превыше всего и вся... Преподавая историю, он больше говорит о шумной славе германского оружия, чем о мирных победах человеческой мысли. Преподавая географию, его длинная указка стремительно очерчивает границы Прусской империи, включая в ее пределы и Данию, и Австрию, и Швейцарию, и Западную Чехию, и Прибалтику — все те страны и земли, где говорят или говорили по-немецки. По глубокому убеждению учителя, гармонии между европейскими державами не могло бы быть без свинцового немецкого кулака. Для него в этом кулаке сжато все самое сильное и жизнеспособное, что создано человеческой

цивилизацией. В самом деле, что такое все прочие великие силы без прусского Vaterland?[1] По высочайшему мнению господина учителя,— ничто или почти ничто. Франция для него — небо без бога, Англия — пресыщенный Одиссей, Австро-Венгрия — перезревшая кокетка, Россия — скованный Самсон, Турция — непохороненный мертвец. Германия — единственная европейская сила, которая знает, чего она хочет от жизни, сила, способная оплодотворить Европу новыми идеалами и новой энергией. Неважно, что все эти шовинистические взгляды грубо противоречат духу эпохи, предпочитающей социальные бури завоевательным войнам. Неважно, что эти взгляды противоречили и общественному духу в самой Германии, которому клуб якобинцев был куда ближе мрачной мансарды Ницше. Укрывшись в душном лабиринте вуппертальской вселенной, Herr Lehrer жил в абсолютном отрыве от времени, не способный постичь ни скандалы в Берлине, ни выстрелы в Париже. Закованный до ушей в доспехи шовинистического мировоззрения, он высокомерен, как императорский капрал. Хотя подстрижен он, как безансонский иезуит, «истинно имперский учитель» остается активным носителем великогерманского духа и его милитаристского начала. Он с восторгом вслушивается в грохот полковых барабанов и рубленых команд кавалерийских поручиков, становится по стойке «смирно», когда вспоминают о Ватерлоо. Все его сознание глубоко пронизала одна-единственная мысль: он учит и воспитывает будущих солдат его императорского величества.

[1] Отечество (*нем.*).

Солдат, которые расстреляют 1848 год.

Пиетист. Монархист. Шовинист.

Вот три идеологических кита учителя из Вупперталя. Они красноречиво говорят о его мировоззрении, выражают все его существо. Но этот строгий Янус известен еще одной способностью духовного перевоплощения — скорее морального, нежели идеологического.

Перевоплощением в интригана.

Мы уже присутствовали при скандале, вызванном длинным языком старшего учителя истории Иоганна Якоба Эвиха. Он достаточно типичен, чтобы получить представление о силе слова, будто случайно оброненного с высоты учительской кафедры. Такие скандалы не редкость, и любой из них подтверждает интриганскую природу вуппертальского учителя. Сей маститый просветитель умов новости предпочитает хлебу. Как хорошо натасканный охотничий пес, который чутьем выискивает куропаток, так и вуппертальский Herr Lehrer инстинктивно вылавливает интересующие его новости. В этой области у него необычайно развита уму непостижимая сноровка. Его уши — удивительнейшее изобретение природы — улавливают все явные и тайные ультразвуки дня, просеивают их и, классифицируя, оценивают по достоинствам. С его ушами могут сравниться разве только уши летучей мыши. Каждое бранное слово или каждый вздох в Вуппертале достигает его слухового аппарата. Их настораживает любой скрытный разговор и каждый звук поцелуя. Его уши слышат даже во сне. Это скорее уши дьявола, чем человека. Но еще совершеннее его разговорный аппарат —

тонкие губы ловца новостей с неизменной хитрой усмешкой. Они всегда готовы передать нечто «новое». Их обладатель великолепно знает, когда говорить во всеуслышание и когда достаточно просто шепнуть на ухо, когда надо обругать и когда смиренно просить. Он знает, с какими нюансами в голосе надо подать торговую и с какими — интимную сплетню. Ему ведомо, наконец, и самое сложное мастерство — тонкости политической интриги, самой интересной, но и самой опасной, которая кроме удовольствия может доставить и крупные неприятности.

Единственное, к чему не приучен вуппертальский учитель,— к молчанию. Зарядившись новостью, он начинает действовать как хорошо отлаженный механизм: быстро, точно, энергично. Первый знакомый, встреченный на улице,— его первая жертва. «Знаете, что мне рассказали у Петерхофа?..» И тонкие губы прилипают к уху знакомого. Лишь время от времени слышится громкое: «Но это же факт!.. Как, вы не знали?.. Но этого ждали...» Достаточно нескольких минут, чтобы сплетня была передана, обсуждена, оценена. Раскрасневшееся от любопытства ухо готово, прильнув к тонким губам, слушать до бесконечности. Но, увы, время не терпит. Навстречу идет еще один знакомый, и учитель спешит к нему. «Знаете, что мне рассказали у Петерхофа?..» И опять: «Но это же факт!.. Как то есть никто не ожидал?..»

Вот так, будто совершенно случайно, шепоток нарушает привычную жизнь улицы, принуждает ее поторапливаться, говорить громче. Микроб сплетни, попав на язык улицы, как все бациллы, становится необычайно активным и плодовитым, и лихорадочная



Город Бармен, где родился и провел детские годы Фридрих Энгельс.

С гравюры первой половины XIX века



Ученическая тетрадь Фридриха Энгельса по древней истории.

эпидемия поражает весь город. Попав ей на зубок, новость совершает удивительнейшие метаморфозы, принимает самые неожиданные формы и оттенки. Из крохотной она превращается в громадную, из громадной — в грандиозную, из грандиозной — в фантастическую. Тонкие губы вуппертальского педагога играют с ней, как им хочется или нравится: забавляясь или жестоко издеваясь — все зависит от настроения, случая или цели. Новость можно превратить в меч, в знамя, в бомбу или... анекдот. Она может стать событием или скандалом, праздником или битвой. У носителя новости неограниченные возможности и тысячи приемов, чтобы владеть людьми, держать их в напряжении. Учитель умеет передавать новость всегда по-разному и всегда интересно. В этом и кроется ее тайная сила. Сплетня никого не заинтересует и не взволнует, если она передана механически, холодно, буквально. Три четверти ее силы таятся в том, как передать ее — шепотком, прошипев сквозь зубы, с паузами, с картечью или интонациями, вкрапленными в рассказ. Пожалуй, ничто другое не требует такой изобретательности и такого темперамента, как распространение сплетни. В этом отношении вуппертальский учитель неповторим. Он сплетничает, как настоящий артист, и поэтому все готовы слушать его и верить ему. Даже самая омерзительная ложь приятна для слуха, если она рассказана красиво.

Вуппертальский Herr Lehrer любит порядок и дисциплину, как... Простите, «любит» не то слово,— он обоготворяет дисциплину и порядок. Для него повиновение — закон всей жизни, геркулесов столп, точка опоры человеческих отношений. Повиновение всю-

ду: в лавке, в семье, на фабрике, в училище, в казарме, в церкви. По его убеждению, оно необходимо везде, где человек может проявить себя, где интересы личные сталкиваются с интересами общества. По его мнению, повиноваться — значит подчеркнуть свою сознательность, культуру, великодушие, то есть стать совершенным. И всякая открытая или скрытая форма непокорности — от диспута до баррикад — раздражает его, мучит, вызывая чувство отвращения. Вот почему он ненавидит учеников, которые хотят знать больше того, что знает он, учитель, больше того, что сказано в учебнике. Вот почему он ненавидит рабочих, объявляющих стачку, солдат, дезертирующих из казармы, философов, сомневающихся во всем, граждан, требующих законности, женщин, которые добиваются равноправия, поэтов, не признающих традиций. Ему ненавистен каждый, кто способен поднять голову или возвысить голос против установленного порядка, против существующих институтов, которые вводят порядки и следят за ними. Он признает единственную истину: слабый обязан подчиняться сильному. Подчиняться беспрекословно, всецело, фанатично. Ученик — учителю, учитель — директору, директор — министру, министр — императору, император... богу. И точка!

Всякое отклонение приводит к сумятице, к разложению нравов и анархии. На этом фундаменте покоится вся мрачная философия повиновения вуппертальской педагогики. Вуппертальский Песталоцци может простить незнание, но непокорность — никогда! Он любит лишь тех, кто умеет слушать и... исполнять. Он бывает страшно доволен, если, входя в

класс, видит покорно склоненные головы, если урок проходит без... вопросов.

Во имя поддержания дисциплины, точнее, во имя послушания Herr Lehrer готов применить любые средства воздействия — от нотации до рукоприкладства. Указка, похожая на длинный лакированный стек, играла ответственную роль в его педагогической практике. Рассеянных она нередко принуждала слушать уроки внимательно, непосед — выстаивать урок на коленях. Указка постоянно сопровождала учителя — важничающая и сухая, как ее хозяин, всегда готовая при нарушении порядка взвиться, присвистнуть и пройтись по непокорному. Этот страшный шпицрутен был одним из самых убедительных аргументов при разборе «училищных конфликтов». Указка неплохо играла роль классного жандарма — была не хуже господской собаки, которая не лает, но кусает. Она начинала напоминать о себе в тот самый момент, когда словесные доводы учителя не давали желаемых педагогических результатов. В таких случаях указка спускалась с кафедры и, прохаживаясь по партам, пересчитывала руки, плечи и головы. Палка действовала убедительнее красноречия.

Впрочем, пляски лакированного хлыста были не единственной формой воспитания. Изобретательный вуппертальский педагог знал немало других средств и методов, с помощью которых он шлифовал непокорные характеры учеников. Он заставлял виновных перечитывать вслух молитвы, по сотне раз писать латинский афоризм: Audi, vide, tace [1], бить друг друга

---

[1] Слушай, смотри, молчи!

по щекам. Были и такие наказания: вызубрить наизусть какую-нибудь из глав сочинения Лоенштейна «Великий герцог Арминий и его светлейшая супруга Туснелда», послать ученика на суд учительского совета, снижавшего оценки за поведение, или заставить провинившегося подметать училищный двор. Каждое наказание учитель избирал с ледяной педантичностью, с таким суровым видом, который граничил с жестокостью.

Слабый обязан подчиняться сильному — и точка! Во имя этого девиза, вернее, во имя сей философии господин вуппертальский учитель и совершал педагогический подвиг, или, как заметил один из эльберфельдских острословов, совершал «скандал из скандалов».

У только что набросанного портрета вуппертальского учителя есть и свои приятные исключения. С одним из них мы уже встречались — с преподавателем литературы Генрихом Кёстером. По дороге от Дюссельдорфа до Эльберфельда мы успели оценить его высокую культуру и силу воли. Нам предстоит встретиться еще с двумя приятными исключениями — с преподавателем французского языка доктором Филиппом Шифлином и с историком и литератором доктором Клаузеном, самым опытным учителем в эльберфельдской гимназии.

Исключения, разумеется, не меняют общей характеристики. Наоборот, они невольно усиливают ее.

Случайный луч никогда не рассеивает мрака. Он лишь подчеркивает его...

* * *

— Дорогие читатели, разрешите представиться вам лично, прежде чем я попаду в жестокие руки господина автора. У меня одно из самых популярных немецких имен: Ганс, Карл, Вилли, Отто, Франц, Иоганн, Фридрих, Рихард, Людвиг или Герман. Люблю все, что мне доставляет удовольствие и позволяет чувствовать себя свободным. Например?.. Пиво, газеты, девчонок с Кирхенштрассе, политические схватки, кегельбан, общественные скандалы, танцы. И само собою разумеется, ненавижу все, что принуждает меня быть серьезным или чувствовать подчиненным. Например?.. Пожалуйста: безденежье, учителей, учтивость по предписанию, пасторов, старых дев, семейные прогулки по вечерам, полицейских, работу в конторе. Вупперталь слишком много занимается моей персоной, что дает мне все основания уважать себя. Я, так сказать, проблема для Вупперталя, или, говоря иначе, его «овод». Слыхивал, что меня называют «опасным поколением Вупперталя», «разрушителем порядка», а пастор Круммахер даже назвал меня блудным сыном. Но верховую езду я предпочитаю...

Кто это говорит так прямолинейно? Чей это задиристый голос? Кто он, умеющий с таким пафосом говорить о своей драгоценной персоне? Кто может позволить себе рассуждать так, не считаясь с вуппертальской этикой, не опасаясь риска вызвать на себя гнев всего Вупперталя?

Вы уже догадались, конечно?

Только он. Человек-жало. Лев и лиса Вупперталя. Вуппертальский хитрец. Живой Уленшпигель...

Перед нами господин вуппертальский ученик!

Портрет этого молодого господина более чем интересен. Представьте себе современного десятиклассника в цилиндре, жакете, брюках в полоску, в модных туфлях и с пелериной на плечах. Представьте себе еще несколько деталей: белокурые волосы, расчесанные на прямой пробор, розовое лицо, пробивающиеся усики, две прозрачные ушные раковины, оттянутые книзу от частого учительского усердия, тонкую шею с созревающим адамовым яблоком и пару рук, вымазанных чернилами. Представьте себе, наконец, все внешнее «великолепие» такого ученика, его лицо, озаренное внутренней ухмылкой, могущей взбесить и самого черта. Впрочем, все сказанное доселе еще не дает достаточно полного представления об истинном облике нашего героя. Не дает потому, что в наброске портрета слишком много позы и манерности, которые являются его сущностью. Возьмем хотя бы цилиндр. Он никогда не носится так, как принято, а всегда слегка надвинут на лоб и сбит набекрень — полуприкрыв один глаз и подогнув ухо. Все это для того, чтобы произвести на окружающих определенное впечатление и подчеркнуть свою независимость. Небрежно надетый цилиндр как бы хочет сказать: «Я не обычный цилиндр. Я — цилиндр свободы!» Позерство слишком явное и в то же время естественное, стихийное, чистое. Цилиндр выражает то, что на сердце. И еще одна деталь — руки. Они никогда не бывают спокойными. Руки всегда чем-то заняты: перебирают часовую цепочку, подбрасывают монету, помахивают газетой, поигрывают тросточкой или показывают фокусы. Каждое движение рук свя-

зано нервными нитями с внутренним динамизмом ученика, и потому они кажутся такими живыми. Это руки, всегда готовые к действию, к жесту. Это руки-мимы. Часто одно их движение бывает куда красноречивее словоизвержения. Помахивание рукой, манера рукопожатия, похлопывания по плечу — и уже готова оценка, мнение или рассказ. Движения рук, как и лихо сдвинутый набекрень цилиндр, как и позерство, совершенно естественны. Они ни у кого не заимствованы, а идут из глубины сердца. Вот почему мы не можем получить полного впечатления о внешнем облике господина вуппертальского der Schuler [1], не учтя эти две его (и только его!) особенности — позу и движение, придающие всей его фигуре своеобразную окраску и аромат.

По своей психологии вуппертальский ученик — богатая и противоречивая натура, сплав дьявола и бога. Эта личность — сгусток ярких контрастов и сложных психологических поворотов, внезапных умозаключений. Ей чужды строго очерченные границы, протоптанные дороги, прямые линии. В ней все — плод непрерывного движения, перемещения духовных пластов. В этом смысле внутренний мир ученической личности почти неуловим, изменчив, богат неожиданностями. Это мир момента, удивления, каприза. Он чем-то напоминает стихию в дни сотворения мира, когда все зависело от игры стихии, когда окончательные формы еще нельзя было представить себе. Стихия чувств и стихия мысли свободно перекрещивались на девственных просторах, переливаясь

[1] Ученик (*нем.*).

одна в другую — неукротимые, стремительные, мощные. В один и тот же миг они вздымали вершины и разверзали пропасти, воспламеняли вулканы и обрушивали ливни. Подпав под власть стихии, юный дух вуппертальского ученика всегда находился в состоянии возбуждения, экзальтации, постоянного непостоянства. Он то добр, то зол, то хитер, то наивен, то великодушен, то мстителен. Ему еще неведомы закон равновесия, мудрость центризма, покой равнодушия. У него все на острие копья крайностей: рушить или создавать, радовать или мучить. В этом отношении внутренний мир Herr Schuler коренным образом отличается от внутреннего мира его преподобного учителя. В душе учителя все «расставлено» по своим полочкам, как лекарства в аптекарском шкафу, или, что еще точнее, все сложено так, как содержимое солдатского ранца (всему свое место). Внутренний же мир ученика — конгломерат слабостей и добродетелей, света и тени. В нем нет и следов пиетистского аскетизма учителя, его строгих и грубых мыслей, его колченогих чувств. Это душа, ценящая риск и битвы, любовь и свободу, волны и штормы. Это душа Пана и сатира, рыцаря и Гавроша. Вот почему всякое преднамеренное прикосновение к ней грозит гибелью.

Весь этот духовный строй активно влияет на поведение вуппертальского школьника в семье, на улице, в училище. Только так можно объяснить все то характерное, причудливое и... необъяснимое, придающее энергию этому поведению, делающее его неповторимым. Тот, кто не считается со сложным психологическим обликом этого строя, с его богатым то-

нальным разнообразием, тот не сумел бы проникнуть в жизнь господина ученика, открыть интимную сторону его волнений и вольностей. Он воспринял бы личность школьника слишком элементарно и шаблонно, без тех живописных нюансов и деталей, которые придают ей своеобразную красоту и привлекательность. Исследователь этой личности может быть верен истине только в том случае, если он отбросит любую внушенную предварительную схему, когда осознает, что каждое звено жизни его «объекта» — творение оригинального духа, внутреннего содержания, которое, независимо от своей хаотичности, представляет собой нечто законченное.

Впрочем, не будем терять времени! Протянем руку вуппертальскому Herr Schuler и совершим короткое путешествие по серпантинным дорогам его удивительного внутреннего мира.

Начнем с той самой арены, на которой подвизаются гении из ученической среды. По внешнему оформлению и бюрократическим распорядкам классы разных училищ отличаются друг от друга. Но они почти близнецы, если судить по их настроению, мыслям, которые рождаются и гибнут в классных стенах. В эльберфельдской гимназии, например, класс украшало множество портретов и бюстов, придававших ему вид аристократического салона; в барменском реальном училище оголенные стены и однообразные столы напоминали третьеразрядную пивную; в женском училище доктора Лита огромный черный крест над учительской кафедрой призывал школьниц к иезуитской строгости монашеской кельи. И все же, несмотря на эти внешние различия, все три

класса жили общими интересами, часто превращались в аристократический салон, в бурный парламент или клуб якобинцев, а монашеские кельи — в места сборищ еретичек. Все это придавало классам вуппертальских училищ своеобразную прелесть, поднимало их до уровня средоточия общественного мнения, где параллельно с уроками, посвященными древней истории, «читались» и лекции о текущей политике. Ограниченный стенами темпераментного класса, вуппертальский господин учитель волей-неволей вынужден был выкладывать почти все свои таланты — политика, философа, сплетника, оратора, спекулянта, стратега и артиста. Ограниченный четырьмя классными стенами, вуппертальский господин учитель вынужден был приспосабливаться к требованиям молодежи. В этих стенах ученик — это и политик, и философ, и интриган, и оратор, и спекулянт, и стратег, и артист. Здесь он в своей тарелке, в состоянии непрерывного кипения. Класс для него что-то вроде сцены, на подмостках которой он — ни от кого и ни от чего не зависимый — ловко разыгрывает роль вездесущего Фигаро, героя, который великолепно понимает уничтожающую силу насмешки.

Итак, мы в одном из классов вуппертальского училища. На его сцене. Декорации на месте: учительская кафедра, черная школьная доска, парты; над доской — картина, на которой изображен прусский орел, когтями вцепившийся в символическую Европу. На противоположной стене — распятие. С потолка опускается газовая лампа. Когда ее зажигают, она шумит, как кипящий чайник. На одной из стен — карта Рейнской долины, на другой — картина «Осада

Трои». Возле двери — манекен, облаченный в рыцарские доспехи, исцарапанные любознательными мальчишками. Рядом с рыцарем провинившийся ученик, поставленный в наказание на колени. Только что смолк звонок. Господин учитель с достоинством покидает класс.

Всего несколько мгновений назад он торжественно изрек: «Ученики, я хочу воспитать вас идеальными сынами нашей нации!» А еще через мгновение после его ухода ученики, многозначительно переглянувшись, сбрасывают маску показного уважения к преподавателю. Начинается перемена, точнее, спектакль. Каждый ученик чувствует себя совершенно свободным. Класс превращается в гудящий улей, в буйную республику крикунов и рвущихся наружу страстей. Расстегиваются пуговицы на куртках, чтобы легче дышалось. Средние парты сдвигаются в стороны, чтобы расчистить место для словесных поединков. Самые благопристойные ученики, то есть кто «себе на уме», выскальзывают в коридор, чтобы не мешать самым запальчивым. А эти, разделившись на группы и фронты, становятся по обе стороны «площадки», готовые схватить друг друга за горло. Каждая группа — политическая партия со своей программой, своим вожаком и своими ораторами. Каждый фронт — общество со своими особыми интересами и самолюбием. Искра вспыхивает сразу же после начала перемены. Будто невзначай со стороны одной из групп доносится: «Вчера полицаи господина Франца снова навестили Фрейлиграта». И тоже, словно бы случайно, кто-то из противостоящей группы восклицает: «Не везет этому бедняге поэту, опять ему пришлось

возиться с неграмотными мужиками в полицейских мундирах!» В первой группе кто-то иронизирует: «Неужели Фрейлиграт пишет для публики, читающей «Элегантную газету»?» Вторая не дает спуску: «Разве публика, покупающая эту газету, умеет читать?» Реплика за репликой, и начинается схватка. Возбуждение нарастает с каждым словом, с каждой высказанной вслух мыслью.

— Инспектор Франц имел полное право послать полицейских. Фрейлиграт вовсе не политический...

— Франц арестовал бы и Шиллера, если бы тот был жив...

— Ваш поэт поддерживает связи с Гуцковом и Мундтом[1], с Гейне.

— Это делает ему честь. «Молодая Германия» — носитель духа обновления.

— Такому духу не место в Вуппертале. Это дух Парижа.

— И Рейна.

— Рейн верен Зигфриду.

— Рейн дал Томаса Мюнцера!

— Рейн...

— Хватит вашего Рейна! Вся Германия признаёт Фрейлиграта.

— О, боги!..

— О, философы!

Спор достигает той точки накала, когда никто никого не слушает, когда говорят все, жестикулируя, крича. Факты, доводы, рассуждения уступают место энтузиазму, увлеченности. В такие моменты класс

[1] Немецкий писатель.

напоминает кратер, изрыгающий возгласы и сентенции, когда лава противоречий плавит мысли.

На шум перепалки сходятся самые благопристойные, переступают порог и, ехидно поглядывая на спорщиков, выстраиваются возле двери. Эта группа любопытствующих — самая спокойная здесь. Когда же спор переходит границы дозволенного, благопристойные врываются на середину площадки и оттесняют противников в разные стороны.

— Шапки долой, господа! Ваша истина слишком уж ваша, чтобы считаться точной...

Голоса хитрецов звучат властно, и обе партии утихомириваются.

Обычно вмешательство благопристойных охлаждает страсти. Успокаивает нервы. Будто случайно кто-то бросает реплику:

— Все сложное так просто. Взгляните, какое чудесное солнце светит нам...

И опять словно бы невзначай кто-то запевает:

Я люблю Гретхен.
А Гретхен любит Карла...

Постепенно группы расходятся. На «площади скандалов» восстанавливаются ряды парт. Застегиваются куртки. Приводятся в порядок прически. Возгласы и насмешки уступают место шуткам и смеху. Вскоре раздается звонок, и дежурный громко кричит с порога:

— По местам! Идет месье Шифлин...

Преподаватель французского языка.

Не всегда, правда, вмешательство хитрецов приводит к умиротворению. Порой оно бывает таким

грубым и циничным, что самые горячие головы инстинктивно объединяются. И тогда развертываются такие бурные схватки, какие только возможны в классе. Это уже не полемика. Это столкновения темпераментов. Верные себе, благовоспитанные атакуют стремительно и злобно. Самые симпатичные бросаются в бой открыто, честно, вдохновенно. Первые бьют недозволенными ударами, не брезгуют подножкой, кусаются, не спорят, а шипят. Вторые говорят запальчиво, но искренне, ищут не обычные слова, а истину. Это уже битва не на жизнь, а на смерть. Компромиссу между цинизмом и энтузиазмом не бывать. «Площадь скандалов» превращается в место, где сталкиваются две крайности, два нравственных взгляда на жизнь и все окружающее. Две философии. В таких случаях на площади только две баррикады, и ничего кроме. Встав друг против друга, они похожи на стаи волков, готовых на все.

Стычка начинается с грубого оскорбления, брошенного хитрецами. «Эй, вы там,— кричат они,— сколько еще будете каркать тут, как вороны на кладбище?..» Или: «Эй, вы там, долго еще будете перестирывать белье своих любимцев?..» Оскорбление столь неожиданно и нагло, что «самые горячие головы» из обеих спорящих сторон инстинктивно объединяются против обидчиков, готовые плечом к плечу биться против вуппертальского цинизма. Мгновенно конфликт между идеями сходит со сцены, уступив место схватке двух противоречивых этических течений. И снова сыплются реплики, перерастающие в бурный разговор, не подчиняющийся правилам и не знающий тормозов. Один из тех, что слышится сейчас:

— Эй, вы там, доколе...

— На каком основании оскорбляете? Это наш спор и наше право волноваться...

— Спор, говорите? Какой же это спор! У вас удивительная способность превращать мух в ослов, а ослов — в слонов...

— Как это остроумно! Покажите свои способности!

— Достаточно того, что мы терпим вашу болтовню.

— Пересаливаете.

— А вы не пересаливаете со своими поэтами и полицейскими?

— Оставьте нас в покое. Займитесь своими делами.

— Куда веселее заниматься вами.

— В таком случае пожалуйте в нашу компанию.

— Мы не дураки и не любим схваток.

— А что же вы любите?

— Посмеяться.

— Смех не всегда бывает почтенным занятием.

— В Вуппертале каждое занятие почтенно.

— За исключением одного.

— Например?

— За исключением того, которое именуется «смех — это здоровье».

— Вы что же, отрицаете латинскую мудрость?

— Нет, мы отрицаем ваше желание присвоить себе мудрость.

— Омерзительные болтуны...

— А вы — паяцы...

Последние реплики произносятся таким тоном,

что примирение становится уже невозможным. Все мосты сожжены, и обе «армии» решительно наступают друг на друга, готовые сцепиться. Спор перерос в скандал, состязание в сарказмах — в оскорбления. Уже чья-то пятерня ухватила чей-то ворот, от некоторых загорбков летит пыль. В воздухе сталкиваются неприличные слова, издевки, нападки. Они взрываются, как гранаты, заглушая школьный звонок. Охрипший дежурный кричит:

— По местам! По местам! Идет месье Шифлин.

Когда преподаватель переступает порог, над его головой проносится последний залп брани. Это уже слишком. Месье Шифлин поворачивается к раскрасневшемуся классу, удивленно всматривается и ледяным тоном произносит:

— Браво!

Класс-сцена остается свидетелем интересных событий и во время уроков. Правда, в такие часы он спокоен — все учтиво смотрят на кафедру. Но это вовсе не означает, что буря стихла и демоны куда-то скрылись. Буря продолжает бушевать в нижних слоях, под партами чувствуются пинки, или там начинают гулять записки. Пока взоры учеников с явным интересом слушают рассказ о судьбе святого Франциска или о мемуарах Плиния-младшего, записка перелетает из рук в руки, передавая пароль или заряд смеха. Рука жадно хватает ее, торопливо разворачивает, прочитывает и посылает дальше, будто от этого зависит судьба всего класса. Иная записка содержит несколько таких слов, от которых щеки раздуваются от сдерживаемого хохота, на другой — рисунок, притягивающий взор, будто магнит.

Записки разные. В одной сказано: «Вчера Людвиг и Вильгельм вдвоем целовали фрейлейн Валькенбург: один — во сне, другой — в мечтах». «Господин напротив (имеется в виду учитель) похож на господина сзади» (рисунок прославленного рейнского рыцаря с козлиной бородкой и лицом пустынника). Но записки с рисунками традиционны — Ева с гусарскими усами и в шлеме римского полководца. Пока учитель рассказывает, листки тайно путешествуют по классу, вызывая еле сдерживаемый смех, о чем можно догадаться по глазам и раскрасневшимся щекам. Это тот самый глупый смех от скуки и невоспитанности, который часто приводит к истерии, странно щекочет нервы и из-за которого с трудом дотягиваешь до перемены.

Бедняга учитель! Он даже и не подозревает, что его вдохновенные слова о святом или римлянине скользят мимо ушей милых мальчиков, что эти уши прислушиваются к бурному смеху нервов. Не всегда этот смех доставляет веселье. Случается, судьба зло подшучивает над учениками, если чья-то рука неосторожно роняет записку на пол. Дальше события развиваются в зависимости от характера учителя. Старший учитель Эвих обычно краснеет, как бурак, и произносит один из своих страшных монологов: «Вы не ученики, а парижские гамены, лондонские грузчики, берлинские ломовики, русские мужики, турецкие башибузуки, китайские фокусники...» А доктор Клаузен, склонив голову, тихим, уничтожающим голоском скажет: «Фамилия Фалькенбург пишется обычно с буквой «эф»»... Месье Шифлин, иронически ухмыльнувшись, со слащавым французским пронон-

сом скажет: «Вот одна из интересных дам, которая обогащает зоологию Вупперталя...» После первой импульсивной реакции каждый учитель поступает посвоему. Старший учитель Эвих начинает настоящее криминальное следствие — бегает между партами, обшаривает карманы. Доктор Клаузен, прервав урок, устало проводит ладонью по лбу и, оскорбленный, уходит из класса. А месье Шифлин, плотно усевшись на стуле, с иронической усмешкой заставляет отвечать поголовно всех. Надо ли говорить, что последнее страшнее всего. Класс после поголовного опроса начинает напоминать сцену после Варфоломеевской ночи.

Вот какими коварными бывают иногда шутки...

Что только не происходит в строгих стенах школьных классов Вупперталя! В утробе этого атома просвещения скопились противоречия и скандалы всей священной долины. Именно здесь можно увидеть Вупперталь без грима и маски, таким, каков он есть, отданный в руки своей молодости и энергии. Только здесь можно понять, почему Бармен предпочитает Лессинга, а Эльберфельд — Гофмана, почему симпатии здешнего «дворянства» делятся между Фрейлигратом и полицейским инспектором Францем, почему поцелуй во сне или рисунок, изображающий нагое тело, доводят духов до исступления. В этой шумной комнате, похожей и на аристократический салон, и на пивную, и на келью иезуита, исследователь может встретить характерную часть вуппертальского карнавала, сплетение чувств и взглядов. Может быть, именно поэтому побывать здесь не только интересно, но и полезно.

Последний протяжный звонок, и господин ученик покидает училище с высоко поднятой головой. Вся его внешность свидетельствует: он доволен времечем, проведенным в классе. Несмотря на неприятность с оброненной запиской, его милость испытала и немало удовольствий — досыта посмеялась, участвовала в двух-трех диспутах, услышала несколько интересных сплетен и конечно же кое-что почерпнула на уроках истории или французского языка. Возможно ли получить больше за четыре тягучих часа, проведенных под крышей фабрики вуппертальских гениев!..

Мы уже достаточно занимались училищем. Наш молодой герой давным-давно забыл о нем. Сейчас под его долговязыми ногами мостовая вуппертальской улицы, которая приведет его домой или в контору отца. Улица с ее магазинами, пивными, коновязями и балкончиками с решетчатой оградой, с ее шумной и пестрой публикой.

Общеизвестно, что отношения между улицей и учеником не очень-то хороши. Ученик слишком своенравен, а улица — не в меру строга. На этой почве между ними и возникают конфликты, которые часто нарушают нормальное течение вуппертальского летоисчисления. Улица находит тысячи поводов и средств, чтобы ограничить свободолюбивые взрывы ученической природы, подчинить ее своим законам. В классе против нее действует одна-единственная сила — учительская указка, но здесь, на улице, восстает множество других сил, способных прижать и согнуть ученическую натуру в бараний рог. Здесь и люди инспектора Франца, и коллеги пастора Крум-

махера, и господин училищный надзиратель Крайслер, и наместник городского бургомистра господин Штраух, и читатели «Элегантной газеты», строгие дамы из «Золотой ложи», королевский караул из Дюссельдорфа, извозчики из Золингена, возбужденные компании из казино, и хулиганы из Рауэнталя...

На улице ученик часто встречает и своего глубокоуважаемого отца, которого называют уже по-модному «папа». Он единственный человек, на глазах которого вуппертальский хитрец не отваживается свободно выказывать веселые выкрутасы своего воображения.

Вряд ли надо говорить, что подобные встречи угнетают буйный темперамент юноши, мешают ему до конца продемонстрировать все свои возможности. Порой и одной встречи достаточно, чтобы смущенный герой захлопнул створки своей раковины, тем более если появляется отец, встреча с которым почти всегда заканчивается нравоучением или ударом тростью по заду. «Папа», наполовину замаскированный солидным животом (этакое коварство!), всегда появляется совершенно неожиданно, задыхающийся от ожирения, с тростью наперевес, которую он держит как мушкет. Ученик даже не успевает изменить выражение своего лица. Улица ликует. Нарушитель спокойствия схвачен на месте преступления — с высунутым языком или когда он запальчиво высказывает излишне свободную мысль. Раздается звук тупого удара, раздраженное бормотание и громкое «Марш!». Арестованный собственным отцом, лев (и лисица) Вупперталя, искренне возмущенный гру-

бым подавлением свободы личности, удаляется под хохот улицы...

И все-таки, несмотря на столь многообразные силы, оберегающие порядок на улице, вуппертальский Herr Schuler умел заявить о себе и здесь. Он может отпустить политическую остроту под самым носом господ прохожих, может, будто нечаянно, ткнуть в живот или поддать сзади знатному горожанину или с вдохновением исполнить под окном господина Лита, директора женского училища, песенку «Послушай, девочка, твой мальчик...» Ученик не постесняется многозначительно подмигнуть какой-нибудь барыньке, которая, чтобы скрыть набежавшую краску, пониже опускает кружевной зонтик.

Молодой господин проходит по улицам, полный идей и кипучей энергии, готовый в любой момент испытать общественное мнение, а точнее сказать, общественное терпение. Удара носком по пустой жестяной банке, оказавшейся под ногами, или визга собаки, отлетевшей от его пинка, бывает достаточно, чтобы взвинтить нервы даже самых невозмутимых вуппертальцев. Поднимается шум, собирается рассерженная толпа, и в центре ее — ученик. Тыча в него указательными перстами и зонтиками, она кричит: «Вот он, вот он, нарушитель порядка!» На первый взгляд положение молодого человека отчаянное. Но это вовсе не значит, что он чувствует себя в западне. Наоборот, опасность вызывает у него прилив скрытой энергии. Стоя лицом к орущей толпе, он приводит в действие все свое оружие, готовый сражаться, как Ахилл под стенами Трои. Гнев толпы нарастает, когда его милость начинает одну из своих хитросплетен-

ных защитительных речей, которая могла бы сделать честь любому королевскому прокурору нижнего течения Рейна.

— Шум, поднятый здесь,— говорит ученик,— не случаен. Я отшвырнул жестяную банку (пнул пса), возмущенный вуппертальским равнодушием. (Возгласы удивления.) Вы разгуливаете по этой глупой улице, растрясая свои телеса, а центральное правительство во Франкфурте торгуется в это время из-за ваших душ. (Оживление.) По предложению господина министра правосудия правительство рассматривает вопрос об отмене кодекса Наполеона. Еще немного — и Пруссия взберется на спину рейнского Буцефала. (Голоса: «Это неверно!») Справка: читайте «Барменскую газету». (Брюзжание.) И еще: вы здесь возмущаетесь моими невинными развлечениями, а там — я хочу сказать, в Берлине — Гогенцоллерны играют с вами, как кошка с мышкой. (Брюзжание, перерастающее в ропот.) В эти дни союзный сейм решил навязать восточные цены в качестве обязательных для всего германского рынка. (Голоса: «Это невозможно!») Справка: только что вернувшийся оттуда королевский профессор и директор доктор Ханчке... (Над толпой подымаются трости, несутся возгласы: «Позор!» — и непристойные слова.) Наконец, я хочу сказать вам...

Ученик умолкает, с удивлением заметив, что его уже никто не слушает. Взволнованная толпа разгоряченно заспорила, дробясь на группы и группки. Воспользовавшись моментом, молодой человек стремительно прорывается вперед и, увеличивая скорость, покидает улицу. Когда опасность уже за спи-

ной, он останавливается и с интересом издали наблюдает за результатами своего выступления. Если вы спросите его, что там происходит, ученик, недоуменно взглянув на вас, доверительно и вполне серьезно ответит:

— Неужели не видите? Чешут языки...

Подвигам вуппертальского Herr Schuler нет конца. В классе или на улице они часть его натуры, его бытия. Они придают его личности романтическую окраску, делая ее не только интересной и разнообразной, но и симпатичной. Без этих подвигов он остался бы заурядным вуппертальцем, напичканным расчетами, молитвами и сухой торгашеской фразеологией, остался бы тем самым чурбаном, который разбирается только в толщине, прочности и ценах на всем известную вуппертальскую пряжу...

Значение его подвигов возрастает еще и потому, что многие из них не чужды и главному герою этой книги. Хотя и необычайно умный для своих лет, сын Энгельса-старшего — типичный вуппертальский ученик, состоящий в родстве с тысячами таких же задиристых дьяволят. И он, как и сотни его сверстников, смех и споры любит больше учительских нравоучений, веселые школьные сборища предпочитает торжественным прогулкам и семейным визитам. Не удивляйтесь, если то там, то сям встретите Фреда восседающим на буйном коньке свободных нравов, забывшим о тяжелой руке отца. Не смущайтесь, если застанете его среди какой-нибудь озорной и шумной компании молодежи, которая шокировала бы не только заплесневевших вуппертальских моралистов, но, возможно, и кое-кого из наших современников.

* * *

— Прошу к доске... Прошу...— перелистывая школьный журнал, бубнит про себя учитель,— номер... номер... одиннадцатый...— и громко произносит:

— Энгельс Фридрих-младший!..

Класс облегченно вздыхает. Фред, как обычно, будет отвечать весь урок. Он столько знает, что порой забивает учителей.

«Номер одиннадцатый» выходит к доске, готовый «поговорить» с учителем.

— Уверен ли молодой человек в своих знаниях?

— Об этом будете судить вы, господин учитель.

— В таком случае расскажите о битве при Иссе!

Ученик повернулся к большой карте, висевшей на школьной доске.

— После победы под Граникой битва при Иссе явилась новым подтверждением военного гения Александра Македонского...

В классе воцарилась редкостная тишина. «Номер одиннадцатый» говорит легко, уверенно, свободно, словно читает книгу. Он рассказывает о вавилонском сне Дария, о болезни Александра, когда тот был в Тарсе, о проходе через «Сирийские ворота», о тактике персов, об атаке хеттов, о героизме старого Пармениона, о ранении самого Александра, прозванного македонским Цезарем, разгроме греческих наемников и паническом бегстве Дария. Фред волнуется так, будто сам участвует в грандиозном сражении. Он на память цитирует некоторые приказы, показывает на карте передвижения войск, называет имена богов и воинов, стремясь воспроизвести картину кипевшей

когда-то битвы. Ученики захвачены живописным рассказом, а учитель просто ошеломлен буйной эрудицией Фреда, который извергает все новые и новые имена, факты, предания, легенды. Он даже обескуражен смелостью мысли своего воспитанника, который, не колеблясь, дает собственные оценки битве при Иссе и ее последствиям.

— Подождите, подождите, господин Энгельс! Вы слишком отходите от учебника...

Строгий голос учителя возвращает «одиннадцатого» в класс. Карта снова становится картой, а только что ржавший Буцефал будто проваливается сквозь землю.

— В учебнике слишком много неточностей, господин учитель.

— Уж не собираетесь ли вы поставить под сомнение лекции самого генерала Клаузевица, на основе которых составлен учебник?

— Имперский генерал заслуживает всяческого уважения, но истина...

— А на чем, позвольте вас спросить, óсновывается ваша истина?

Фред вызывающе смотрит в насупленное лицо учителя.

— На оригинальных произведениях Ариана, Демосфена, Плутарха, Диодора, Калистена, Птоломея...

— И вы читали все, что они написали о походах Александра Македонского?

— Да!

Учитель недоверчиво уставился на ученика.

— Хорошо! Проверим... Сколько, по Ариану, было убитых при Иссе?

— Сто тысяч персов и четыреста пятьдесят македонцев...

— А каковы, согласно хроникам Калистена, были силы Дария при Гавгамеле?

— Миллион пеших, сорок тысяч всадников, двести боевых колесниц и пятнадцать закованных в броню слонов.

— Гм...

— Если позволите, могу наизусть повторить любую речь Александра Македонского...

Учитель смущенно протирает очки. Класс гудит, будто потревоженный улей. Слышатся нетерпеливые голоса:

— Разрешите ему...

— Пусть повторит...

Просьбы так настойчивы, что учитель не решается отказать.

— Хорошо, господин Энгельс... Мы вас слушаем...

Кивнув головой, Фред повернулся лицом к взволнованному классу. Ему ободряюще подмигнули десятки дружеских глаз. Голос ученика снова зазвучал на весь класс:

«...Я пришел в Азию не для того, чтобы истреблять народы, а полмира превратить в пустыню, и не для того, чтобы угнетать побежденных. Не прочно то владение, которое приобретено мечом, вечна только признательность за совершенное благодеяние... Меня обвиняют в том, что я переношу в Македонию персидские обычаи и нравы. У многих народов я нахожу такое, чему не стыдно подражать. Невозможно управлять огромной державой без взаимообмена всеми имеющимися благами...»

Отрывки речей полководца следуют один за другим. Речь перед сражением при Гранике, речь на берегу реки Хифасис, речь при казни Филота, сына Пармениона... Учитель слушает с раскрытым ртом. Он не верит своим ушам. Боже мой, какая феноменальная память! И все это преподнесено на чистейшем древнегреческом языке. Просто великолепно. Да этого юношу можно хоть сейчас отправить прямо в Кёльн или Мюнхен, и он станет первым преподавателем древней истории...

— Последняя речь Александра Македонского звучит более мужественно на латинском...

Взволнованный учитель встает:

— Вы заслуживаете самой высокой похвалы, молодой коллега. В вашем лице я вижу одну из надежд исторической науки...

«Одиннадцатый» смущенно улыбается:

— Должен вам признаться, история не предмет моих стремлений. Я мечтаю о другом...

— О другом? Но тогда зачем выучили все это?

— Потому что хочу стать поэтом...

— Поэтом?!

— Да!

Учитель обескураженно всплеснул руками.

— Но что общего у поэзии с речами бессмертного македонца?

— Все великое имеет много общего с поэзией...

— Интересно... А кто подсказал вам эту мысль?

— Никто. Я сам так думаю!

Учитель испытующе смотрит на Фреда, словно видит его впервые.

— Гм... Вы удивляете меня... Садитесь...

Фред, сопровождаемый восторженными взглядами учеников, направился к своей парте.

Учитель постепенно приходит в себя. Вот уже его указательный палец вновь скользит по страницам классного журнала.

— Пусть выйдет к доске номер... номер...

Но класс спокоен: до конца урока осталось всего полминуты...

Итак, перед нами ученик Энгельс Фридрих-младший. Самый способный (и самый рослый) юноша в гимназии королевского учителя доктора Ханчке.

Наш Фред!

Это хорошо сложенный молодой человек с большими светлыми глазами и мягкими каштановыми волосами, зачесанными на пробор. У него приятные округлые черты лица и золотистый пушок над верхней губой. Его нос — продолжение покатой линии лба, а резко очерченный рот красиво выделяется на добром лице. Его уши и шея почти скрыты под низко подстриженными волосами, а округлая линия затылка как бы подчеркивает нежный овал лица. Есть что-то милое и подкупающее во всем его облике, в мальчишеских чертах его лица. Это еще не мужчина, а юноша, и все в нем безыскусно, свежо и искренне. В нем еще не угадывается будущая библейская голова мыслителя, мифически грандиозный образ Зевса, перед которым в один прекрасный день человечество склонит свои головы. Фреду только шестнадцать-семнадцать лет. Это еще весна его жизни, впереди которой буйное цветение.

В отличие от многих товарищей по гимназии, Фред внимательно следит за своей внешностью. В этом отношении сын напоминает отца, который, как мы уже знаем, был одним из самых модно одетых людей в округе. Как и отец, молодой Фридрих не носит ничего старомодного, бесцветного, что не соответствовало бы последним фантазиям дюссельдорфских портных. Где бы с ним ни встретились, вы не увидите на нем обычного цилиндра, жабо, длинного жилета, полосатых брюк, цветных туфель. Вместо этого традиционного костюма начала прошлого века наш молодой человек носит более современный — соответствовавший моде конца тридцатых годов и пользовавшийся популярностью в аристократических салонах Европы. Более низкий цилиндр с неширокими полями. Вместо жабо — модный галстук, белая сорочка, жилетка, короткий жакет, не имеющий ничего общего с длиннополым рединготом. Темные узкие брюки с широким шелковым кантом и узконосые черные лакированные ботинки. Все это сшито лучшими мастерами и содержится в образцовом порядке.

Ученик Фред привлекает внимание изысканностью и хорошим вкусом. Хотя он еще совсем молод, тем не менее не уступает ни одному из самых модных светских львов того времени. Великолепное понимание искусства одеваться — качество, присущее Энгельсу на протяжении всей его жизни. Он не изменял своим привычкам даже тогда, когда шел к лондонским докерам.

Этот портрет Фреда не должен смущать и тем более приводить к ошибочным заключениям. Красивый

овал лица и элегантный костюм не составляют всей его сущности. Это всего лишь рамка образа, его видимая внешность, за которой живет и действует глубокий и беспокойный дух. Изысканно одетый ученик не имеет ничего общего с ветреными вуппертальскими денди, способными целыми днями репетировать перед зеркалом какой-нибудь жест с тросточкой или донжуанский взгляд. Его подчеркнутое внимание к элегантности не отражается на характере и не подавляет буйного развития натуры. Она идет больше от внутренней артистичности, чем от внешней парадности. Красота для Фреда нечто цельное — такое, что не должно и не может быть разорванным на части. Он не понимает тех, кто заботится лишь о красоте духовной, и ненавидит тех, кто обожествляет только тело. Первые отталкивают его своим рахитизмом и гнилыми зубами, а вторые — тупоумием. Он не любит ни аскетов с пергаментной кожей, ни цирковых атлетов. Для молодого Фридриха красота должна быть во всем. Духовное богатство человека должно находить свое внешнее проявление. Душа вдвойне прекрасна, если она живет в здоровом и красивом теле. В этом отношении Фред ближе к Аристотелю, чем к Сократу. Он восторгается Гёте и отвергает Шопенгауэра. Изысканная одежда Фридриха не просто проявление вкуса. Она свидетельствует об эстетической цельности его личности, ее стремлении к гармонии. Вот почему его внешность не раздражает и не унижает, а наводит на глубокие размышления. Он стремится к цельной красоте, а не к дешевым признаниям глупцов и плоским комплиментам, к реверансам улицы. Он видит в красоте частицу того иде-

эла, который возвышает человека. Может быть, поэтому Фред не боится прослыть щеголем в этом раю обскурантизма, где все определяют обозленные пасторы и плутоватые торгаши. И может быть, поэтому он следит за тем, чтобы воротничок был туго накрахмален, а брюки отглажены, а также за всем тем, что заставляет Вупперталь при встрече с ним бледнеть, вставать на цыпочки, шептаться, мечтая подражать ему...

Некоторые биографы Энгельса не любят рассказывать обо всем этом. Для них Энгельс — это Энгельс гений и титан, о котором следует писать только в высокопарном стиле. А перед нами молодой человек, который доверительно подмигивает и с загадочной улыбкой признается: «И все-таки это я, Фридрих-младший, Фред Энгельс, настоящий Энгельс!» Хотя он и одет подобно истинному господину, это обыкновенный юноша, ничем не отличающийся от остальных вуппертальских молодых людей. За его изысканной внешностью бушует неистовая натура, которая часто бросает его в самое пекло вуппертальского озорства. Эта натура играет словно молодое вино и рвет любые путы, которые ее связывают, ограничивают, давят. Остроносые лакированные ботинки не в состоянии удержать его, чтобы не поддать ногой жестяную банку, валяющуюся на дороге. Модные жакет и галстук не мешают нашему герою принимать участие в веселых ученических компаниях, распевающих серенады под окнами женской гимназии. По словам некоторых барменских моралистов, Фред имел «неустановившийся» характер, который зачастую не гармонировал с его именем и

воспитанием. Этим самым они как бы хотели сказать, что Фреду чужды чрезмерная почтительность и ханжеская сдержанность, что его отношение к людям и нормам поведения основывалось только на искренности. Юноша презирает лицемерие и ложь, скрашенные добродетелью, испытывает физическое отвращение к тем, кто поступают не так, как хотят, а как их принуждают. Фред — их антипод. Каждое его действие — это проявление натуры, характера, всей его сущности.

Ничто не в состоянии остановить или приглушить стремления и эмоции юноши, его активных переживаний. Есть, правда, силы (трость Фридриха-старшего, например), которые бывают серьезным препятствием на пути таких переживаний. Нередко эти силы пробуют диктовать ему, лишать его радостей жизни, компрометировать, наконец. Но истинно рейнский темперамент Фреда устойчивее этих сил (даже отцовской трости). Обычно он одолевает их и живет по велениям своей совести. И поэтому не удивляйтесь, если Энгельс-младший доверительно шепнет, что отправляется «провести весело вечер», или увидите его скоморошничающим на улице. Не забывайте, что этот человек до конца верен своей натуре, что его поведение определяется инстинктами возраста, что, несмотря на свои выдающиеся качества, это всего лишь обыкновенный юноша, во всем поступающий так, как подсказывает совесть, и ни в чем не изменяющий ей.

Итак, перед нами ученик Фридрих Энгельс-младший...



Стихотворение Фридриха Энгельса с собственными рисунками. 1836 год.

Telegraph

für

Deutschland.

1839. **März.** **№ 49.**

Briefe aus dem Wupperthal.*)

I.

Bekanntlich begreift man unter diesem bei den Freunden des Lichtes sehr verrufenen Namen die beiden Städte Elberfeld und Barmen, die das Thal in einer Länge von fast drei Stunden einnehmen. Der schmale Fluß ergießt bald rasch, bald stockend seine purpurnen Wogen zwischen rauchigen Fabrikgebäuden und garnbedeckten Bleichen hindurch; aber seine hochrothe Farbe rührt nicht von einer blutigen Schlacht her, denn hier streiten nur theologische Federn und wortreiche alte Weiber, gewöhnlich um des Kaisers Bart; auch nicht von Schaam über das Treiben der Menschen, obwohl dazu wahrlich Grund genug vorhanden ist, sondern einzig und allein von den vielen Türkischroth-Färbereien. Kommt man von Düsseldorf her, so tritt man bei Sonnborn in das heilige Gebiet; die Wupper kriecht träg und verschlammt vorbei und spannt durch ihre jämmerliche Erscheinung, dem eben verlassenen Rheine gegenüber, die Erwartungen bedeutend herab. Die Gegend ist ziemlich anmuthig; die nicht sehr hohen, bald sanft steigenden, bald schroffen Berge, über und über waldig, treten keck in die grünen Wiesen hinein, und bei schönem Wetter läßt der blaue, in der Wupper sich spiegelnde Himmel ihre rothe Farbe ganz verschwinden. Nach einer Biegung um einen Abhang sieht man die verschrobenen Thürme

*) Unsre Leser werden uns Dank wissen für diese authentische Schilderung einer Gegend, welche das wahre Zion der häßlichsten Form des an manchen Orten in Deutschland grassirenden und das Mark des Volkes ausmergelnden Pietismus ist. A. d. R.

Страница журнала «Telegraph für Deutschland» со статьей Фридриха Энгельса «Письма из Вупперталя».

Урок по истории давно окончился, и Фред уже дома. Перешагивая через две ступеньки, он стремительно поднимается по лестнице на верхний этаж и осторожно стучит в дверь. Прежде чем отправиться в свою комнату, сын должен поцеловать руку фрау Элизы. Он знает, что она ожидает его, сидя в качалке с большой черной кошкой на коленях и любуясь закатом. Обычно она перечитывает обожаемого Вертера или вышивает на старых пяльцах. Фред влетает, становится на колени возле кресла матери и восклицает с театральным пафосом:

— Ваш рыцарь, мадам!

Фрау Элиза вздымает руки и в тон отвечает ему:

— Ваша дама, сир!

Фред вскакивает и целует руку матери. Затем садится у ее ног и, смеясь, говорит:

— Спрашивайте, сеньора. Подвиги вашего рыцаря бесчисленны...

Мать замирает в торжественной позе:

— Говорите, барон! Я вся внимание...

Сын кладет руку на сердце и комично вскидывает голову.

— Итак, божественная Дульцинея, все, что услышите из уст моих, сама небесная правда. Ныне, когда я следовал через пустынную местность, названную неким злым шутником «королевской гимназией», меня встретили трое страшных рыцарей из ордена вуппертальских бород. Первые два небезызвестные вам графы дон Ханчке и дон Корнелиус отсалютовали мне своими копьями, вызвав меня тем самым на поединок. Руки их были окраплены теплой ученической кровью, а лица светились бессердечностью. Но

я принял вызов и ринулся в бой. Неожиданно на меня напал третий рыцарь, лохматый господин Иоганн Якоб Эвих, который без предупреждения приставил свое копье к моей груди. Все вокруг ахнули, видя подлое нападение коварнейшего из рыцарей, и сочувственно меня подбодрили. Но я (вы знаете, мадам, мое мужественное сердце) даже не дрогну́л. Вспомнив бога и вас, я, словно взбешенный тигр, бросился на врага. Все были восхищены моей отвагой. А спустя пять минут сир Эвих стоял на коленях перед моим конем...

Затем фрау Элиза с интересом слушала рассказ Фреда о его ответах на уроке истории. Сохраняя торжественную позу, она вся трепетала от внутренней радости, которая огненным румянцем обжигала ее щеки. Наконец она не выдержала, всплеснула руками и прервала «рыцарский монолог» сына веселым голосом:

— Ты говоришь, что он видит в тебе «одну из надежд исторической науки» и... даже назвал тебя «молодым коллегой»?

Фред сразу стал серьезным.

— Да, мама... Увы, он так меня назвал. Меня, поэта...

— О-ля-ля... Это же чудесно!

Фред нахмурился:

— Что здесь чудесного? Я не нахожу...

Мать встала и ласково обняла сына.

— Чудесны твои знания, Фридрих. Третьего дня доктор Шифлин говорил твоему отцу, что ты прирожденный филолог... Выходит, каждый учитель тянет тебя к себе, к своей науке. Вот это-то и чудесно!..

Фред удивленно посмотрел на мать.

— Но неужели это вас волнует, мадам?

— О, конечно же нет, мой рыцарь! Дульцинея равнодушна к успехам своего гидальго.

Тон опять стал шутливым. Сын наклонился к уху матери:

— Хочу кое-что сообщить вам по секрету... большую тайну...

— Буду молчать, как могила, храбрый юноша...

Фред оглянулся по сторонам и быстро прошептал:

— Рыцарь голоден. Безумно голоден. Ноги мои дрожат...

Мать залилась смехом.

Спустя несколько минут Фред опустошал тарелку медовых оладий...

«Визит» к фрау Элизе завершился, как всегда, весело и непринужденно. После него Фред свободен и может уединиться в своей комнате. До самого вечера, до прихода отца, юноша полный хозяин своего времени. Он может читать, сочинять стихи, играть на клавесине, или, открыв окно, просто... помечтать. Обычно Фридрих начинал с последнего. Он снимал сюртук и жилетку и в белой сорочке садился на подоконник. Взгляд его останавливался на синей линии горизонта, где гасли последние отблески заката. Как хорошо любоваться им из окна родного дома. Из своего узкого и высокого окна, увитого плющом и глициниями, будто прорубленной бойницы в крепкой стене старого дома. Скрестив руки на груди, Фред

напоминал Фабрицио или, точнее, провидение из сонетов Жерара де Нервала. В такие минуты он поистине испытывал поэтические чувства, зачарованный тишиной и золотом гаснущего солнца, охваченный каким-то смутным, но красивым ощущением. Иногда юноша проводил так целые часы, и тогда лишь белизна его сорочки выделялась на фоне опустившегося мрака. И только голос фабриканта способен был оторвать его от поэтических грез и вернуть к реальности. Обычно отцовский бас гремел настолько мощно, что Фред сразу же соскакивал с подоконника, быстро надевал жилетку и сюртук, поправлял волосы и спешил вниз в столовую. В доме не принято, чтобы глава семьи садился за стол раньше и ожидал кого-то...

Вот и теперь голос Фридриха-старшего разорвал тишину. По деревянной лестнице застучали быстрые и мелкие шаги. Фред знает: это старшая сестра Мария спешит за ним. Брат ждет ее у двери, подхватывает на руки и несет к лестнице. Девушка весело смеется, закрывая рот рукой, и заговорщически сообщает:

— Отец в ярости, я еще не видела его таким...

Наконец мы одни в комнате Фреда и можем спокойно ее разглядеть. Ужин семьи продолжится почти час. Отец ест медленно. Времени предостаточно, чтобы рассмотреть все, что нас интересует. Итак, за дело!

Подсвечник на толстой книге, покоящейся на столе. Бледное пламя свечи трепетно освещает комнату

гимназиста. Перед нами предстает небольшой, но дорогой нам мир, преисполненный романтики и творческого напряжения. Здесь все напоминает «добрые времена старика Вольтера»: и потемневшие старые обои из китайского шелка, и клавесин с костяными клавишами, и стол с низкими ножками в виде лежащих львов, и стулья с пухлыми бархатными сиденьями, и кровать с резными сатирами на спинках, и этажерка из черного дерева, и сундук для одежды с большим железным замком, и отлитое из олова распятие на стене, и темные пейзажи в голландском стиле... Все это «живет» повседневными заботами юноши. К старым китайским обоям приколоты наброски и карикатуры, нарисованные рукой Фреда. На клавесине — раскрытый клавир «Оберона» Вебера. На столе разбросаны исписанные листки, словари, чертежи, сломанные перья. Стулья завалены газетами, альбомами, справочниками, картами. На этажерке расставлены пробирки, колбы, гербарии, заспиртованные ящерицы, чучела птиц, человеческий череп. И повсюду книги: на полу у стены, на сундуке и даже на кровати — груды книг в кожаных или картонных переплетах, прочитанные и читаемые, испещренные знаками, заметками, ощетинившиеся закладками.

На первый взгляд комната напоминает кабинет какого-нибудь алхимика, доктора Фауста, решившего разгадать тайны жизни. Трепещущее пламя свечи усиливает это впечатление, и мы невольно ищем на стенах козлиный профиль Мефистофеля. Но вместо тени дьявола перед глазами предстают разнообразные прозаические предметы, которые

возвращают нас к действительности. На одной из стен висит упругая пружина для тренировки мышц. На оловянное распятие накинут ремешок длинной шпаги для фехтования. У сундука лежит тяжелая гимнастическая гиря, а у двери сложена конская сбруя с посеребренными мундштуками. По всему видно, что наш Фауст вовсе не отрекся от мира сего, что тесная ученическая комната полна жизни, духовного и телесного счастья. Фауст, который живет здесь, не созерцает лишь полый череп науки и не предается пустым грезам. В этих четырех стенах втиснута целая жизнь, соединены труд и развлечения, мысли и забавы. Вот почему комната Фреда; ее обстановка не настраивают на меланхолический лад, не угнетают сознания, не лишают радостей. Заваленная книгами и склянками, она не отдает духом кельи, не напоминает строгой атмосферы какой-нибудь лаборатории. Здесь, вероятно, ни за что не смогли бы жить ни Клод Фроло, ни Эдисон. Скорее всего она пригодна, чтобы собрать и слить воедино их качества и породить таким образом новую, более совершенную и более гармоничную личность. Это такое место, где мечта и действительность сливаются, где самая точная формула и исполненная изящества фраза имеют равные права на существование.

Обстановка комнаты полностью соответствует характеру юноши, который в ней живет. Кажется, будто здесь разместилось все богатство молодой души, которая создала мир, примиривший противоположности, мир гармонии и совершенной красоты. Может быть, ни в каком другом месте книга и гимнастическая гиря, гербарий и шпага не соседствуют

так естественно (и так слитно), как в этом жилище. Достаточно заглянуть сюда искушенному человеку, чтобы увидеть и понять всю многогранность гения, разнообразие его интересов, всю сложность его внутреннего развития. Заглянув сюда, можно понять, как могла одна и та же рука создать великолепнейшие путевые записки «Из Парижа в Берн» и бессмертную «Диалектику природы», как один и тот же человек мог быть одновременно и блестящим мыслителем, и замечательным спортсменом...

Каждое жилье имеет свое святая святых, заповедное место. Имеет его и комната Фреда. Это тяжелый дубовый стол, за которым молодой человек создавал свои первые произведения. За ним он познавал, рассуждал, мечтал, творил. Склонившись над столом, он проникал в тайны природы и ощущал первые могучие порывы своего духа. Сидя за ним, закутавшись в старый халат отца, Фред нередко встречал утро с усталыми глазами и побледневшим от бессонницы лицом. Очень часто он отдавал предпочтение не кровати, а столу, чтобы взяться за книгу или перо, стать ученым или поэтом. Садясь за стол, Фред забывал окружающий мир (школу, улицу, игры) и погружался в сложный мир размышлений, мир загадочный и непостижимо удивительный. Стол освобождал его от будничных забот и предлагал лежавшее на нем литературное богатство. Руки Фреда любили его холодную поверхность, закапанную воском и чернилами. Они знали каждую его трещинку и неровность, каждый его краешек, каждое отражение на его лакированной поверхности. Так кузнец знает свою наковальню, на которой он кует железо...

Вот стол Фреда в обычном рабочем состоянии. В центре несколько раскрытых книг и стопка густо исписанных листов. Рядом возвышаются десятки толстых томов, пухлые картонные папки, разноцветные рулоны, сложенные карты, незаконченные рисунки. На одной из раскрытых книг лежит тяжелый костяной нож для разрезания бумаги, а густо исписанные листки прижимает старая оловянная чернильница с торчащим из нее пером. По всему видно: стол ждет хозяина и в эту ночь кровать не будет разобрана. Тусклое пламя свечи все же позволяет увидеть нам, что́ читает и пишет Фред. Пред нами книги, которые только что были в его руках. Они еще хранят их тепло. Это вольтеровский «Кандид» и «Путешествия Марко Поло», гётевские «Метаморфозы растений» и дневник Бонапарта, баллады Готфрида Бюргера и «Теория великой войны» Клаузевица. Раскрытые и сложенные рядом, они вызывают трепетное восхищение. Создается впечатление, что юноша читает их одновременно, что все пометки на полях он делает в одно и то же время. В действительности Фред читает внимательно, по строго определенному плану, отдавая должное каждой из книг. Пока «Кандид» и «Метаморфозы» только начаты, дневник и баллады дочитываются. Привычка читать различные книги одновременно будет присуща нашему герою на протяжении всей его жизни.

Стол Энгельса всегда будет местом породнения многих наук и искусств, неожиданных встреч непохожих друг на друга гениев — маленького, но богатого собрания человеческой мысли. Это не стол для ведения торговой переписки или для сочинения лю-

бовных писем. На нем нет фолиантов, печатей, красного сургуча, надушенной бумаги, конвертов с амурами. Здесь только книги, сложенные стопками, и каждый раскрытый том призван в помощь какой-то захватывающей и важной работе, какой-то идее. Здесь господствует дух — могучий, ненасытный дух человека, который жаждет собрать с древа познания все сладкие и горькие плоды бессмертного разума. Вот почему мы стоим у стола с чувством глубокого смущения и внезапно нахлынувшего восторга и преклонения.

Но книги не полностью «заполонили» стол Фреда. Дрожащее пламя свечи выделяет на нем белые, густо исписанные рукой юноши листы. Это его первые литературные опыты, первые поэтические творения, идущие от самого сердца. Стихи на древнегреческом языке, критические очерки о книгах Жан Поля или Вилибальда Алексиса, рассуждения о «Лаокооне» Лессинга, рассказы в духе Даниеля Дефо. В этих первых произведениях много очарования, фантазии, внутренней свободы. В них автор пытается уйти из мира детских представлений, в них гений делает свои первые шаги. Это сочинения, идущие больше от чувства, нежели от сознания, начальные движения души, которые не совершают, а лишь подготовляют широкое вторжение в мир прекрасного.

Но возьмем один из листов и посмотрим, что написано на нем. Вот, например, баллады Бюргера,

с большим чернильным пятном посередине. В верхней части листа нарисован старинный испанский бриг с палящими пушками и пиратским знаменем на мачте. Под рисунком крупными готическими буквами написано: «Рассказ о морских разбойниках». Какая славная находка! Сами того не подозревая, мы напали на одно из первых литературных произведений Энгельса. На одно из тех его сочинений, которое зародилось в буйном мальчишеском воображении под сильным влиянием приключенческой литературы. Для иных биографов Фреда этот рассказ не более чем «чисто детский, беспомощный и непритязательный опыт», который «не входит» в заранее созданную ими схему образа...

В отличие от таких биографов, мы ценим и любим «найденный» нами рассказ, рассматриваем его как первую попытку войти в царство «большой литературы». Для нас это живой плод молодой натуры, рожденный под напором глубоких и чистых чувств, результат искреннего порыва души. Шпага, висящая на распятии, и три тома Фредерика Мариета, лежащие на одном из стульев, позволяют легко представить атмосферу, в которой написано это романтическое произведение. Наверняка ночи подряд комната автора была капитанской каютой, а белая штора на окне — парусом корабля. Наверняка здесь ревели морские бури, сверкали и звенели в руках бойцов шпаги и ломающийся мальчишеский голос выкрикивал английские команды и наивные сногсшибательные проклятия. Целые ночи воображаемый корабль с черным знаменем, развевающимся над сонным Вупперталем, плавал в поисках острова капитана

Флинта, готовый вступить в самую отчаянную схватку. В этом рассказе весь юный Фридрих — со своей выдумкой и благородством, с желанием быть одновременно и бойцом, и писателем, человеком подвига и человеком чувства. В нем он проявил самого себя или, точнее, нашел частицу самого себя, давая простор фантазии и темпераменту. В этом произведении все пронизано неистребимым стремлением к свободе, байроновской мечтой о «вольном доме на волнах», страстью к активному самовыражению своего духа и состояния. Вот почему этот «совсем детский» рассказ, взволновавший нас, дает возможность еще лучше узнать артистическое сердце Фреда. Несомненно, это один из тех ценных документов, который интересует больше психолога, чем историка. Свидетельство того, что, прежде чем попасть в плен строгой Клио, Энгельс был уже пленником нежной Калиопы...

Последнее подтверждают и другие листы, разбросанные на столе. На одном из них читаем заметки Фреда о литературном стиле Вольтера. На другом — план задуманной драмы в стихах. А на третьем обнаруживаем стихотворение Фридриха «Поединок», написанное на древнегреческом языке гомеровским гекзаметром...

Т-с-с-с... За дверью слышны шаги. Быстрые, энергичные. Это идет Фред. Наверное, ужин окончен, и юноша возвращается в свою комнату. Отточенное перо и раскрытые книги влекут его словно магнит...

Досадно! Но ничего не поделаешь. Придется задуть свечу и удалиться...

Мало с чем можно сравнить обыкновенную ученическую сумку вуппертальского школьника, сделанную из кожи, снабженную длинными ремнями и большой металлической застежкой. Обычно она бывает за плечами ученика, подобно солдатскому ранцу, набитая тетрадями, учебниками и многими самыми неожиданными, но крайне необходимыми ее владельцу предметами. По выражению доктора Клаузена, это настоящий вещевой склад, в котором наряду с атрибутами знаний можно найти щепотку табаку, пакетик сладостей, открытки с амурами, модные книги Генриха Клаурена и даже «шаловливые изображения» мадам Помпадур. Иногда этот переносный склад сбрасывается с ученических плеч, чтобы превратиться в сиденье, в ворота для крокета или, наконец, быть пущенным в ход в потасовке. Бывает, что к сумке прикрепляют крестики, иконки, амулеты, освященные корешки, которые при ходьбе постукивают друг о друга, звенят и гонят прочь злых духов от высокой ученической особы. Завидев такую сумку-часовню, вуппертальские бабки осеняют себя крестом, а ребятишки, бегущие следом с высунутыми языками, пытаются незаметно снять какую-либо из побрякушек. В отличие от «склада», переносная «часовня» не содержит ничего предосудительного или компрометирующего чистоту помыслов ученика. Вместо щепотки табаку и изображений мадам Помпадур здесь благовоспитанно покоится молитвенник с личной надписью отца Круммахера или одно из известных духовных сочинений Эрнста Вильгельма Гангстенберга. Такая сумка пахнет ладаном. Но чем бы она ни была — лотком коробейника

или божьим домом,— все сумки вуппертальских учеников имеют что-то общее. Они всегда кажутся таинственными, содержат нечто любопытное и неожиданное. Каждая из них своего рода андерсеновский солдатский ранец. Посторонний, запуская в нее руку, не знает, что доведется извлечь оттуда — сокровище или рухлядь...

Наш Фред также имел свою вместительнейшую ученическую сумку. Пока он находился под сенью барменского реального училища, она напоминала «часовню» — была чопорной и звенящей, украшенной подобно седлу иерусалимского осла. Но едва ученик переступил порог королевской гимназии в Эльберфельде, его сумка приобрела вполне светский вид. С нее исчезли все поповские побрякушки. Их заменили знаки Гермеса [1]. Эта перемена совпала со временем «первого освобождения», когда в руки Фридриха-младшего попала преданная анафеме книга Штрауса. Вначале Энгельс-отец был удивлен, а затем возмущен резкой метаморфозой ученической сумки. Но несмотря на неистовые взрывы гнева, он в конце концов «де-факто» признал эти изменения. Сын рос и становился все более независимым, упорным и настойчивым...

Сумка Фреда — это своеобразное повторение его комнаты в миниатюре, поднятой над землей и

[1] Гермес — по греческой мифологии бог пастбищ, дорог, торговли, гимнастики и красноречия. Покровитель наук и искусств.

ежедневно путешествующей по длинным вуппертальским улицам. И здесь, как в ее большом прототипе, все завалено книгами, бумагой, рисунками — атрибутами неуемной натуры юноши, его страстей, планов, привязанностей. Вряд ли есть другая ученическая сумка в Вуппертале, которая хранила бы что-либо более интересное, чем сумка нашего героя. Рядом с обычными ученическими предметами в ней лежали и такие редкие богатства, обладание которыми сделало бы честь самому образованному интеллигенту. Как само собой разумеющееся, в сумке (подобно комнате) соседствовали в общем-то непримиримые и по-своему поразительные вещи. Например, учебник богословия и «Декамерон», одна из драм Бюхнера и трактат Менцеля. Или — «Славный марш славных офицеров славного дюссельдорфского гарнизона» и... «Марсельеза».

Но зачем рассказывать нам? Не разумней ли предоставить слово одному из современников Фреда, кто лучше нас сможет поведать о содержимом описываемой сумки. Доктору Ханчке, например, у которого Энгельс квартирует уже несколько месяцев и кто единственный после Фридриха-старшего имеет право драть его за уши, когда сочтет это нужным. Сейчас королевский профессор находится в своем домашнем кабинете, закутанный в халат, в комнатных туфлях и в вязаной шапочке. На дворе весна. Настольный календарь Ханчке показывает 1837 год.

— Какой дьявол внушил вам заинтересоваться сумкой моего квартиранта, господа?..

Сердитый голос Ханчке выражает всю гамму недоумения и удивления.

— Мы интересуемся всем, что связано с жизнью великого человека, господин доктор.

Учитель смущенно развел руками.

— Не ослышался ли я, господа? Вы называете младшего Фреда «великим человеком»...

— Но разве вы не знаете, что Фридрих Энгельс...

Ханчке захлебнулся от смеха. Затем недоверчиво оглядел нас.

— Оставьте шутки, любезные джентльмены. Могу ли узнать, откуда вы прибыли? Вид у вас не здешний...

— Явились издалека, господин Ханчке. Из второй половины двадцатого века.

— К-а-а-к?

Доктор, словно подкошенный, опустился на стул и смотрит на нас широко открытыми глазами. Он поражен.

— Если не шутите, вы... Но все едино...

Ханчке трясет маленьким бронзовым звонком. В дверях появилась служанка.

— Милая Марта, будь любезна, принеси ученическую сумку Фридриха. Эти... да, эти господа желают осмотреть ее.

Несколько минут спустя сумка кладется на письменный стол растерянного хозяина. Он подталкивает нас к столу и говорит иронически:

— Вот она, сумка «великого»... Лично я не в восторге от нее. Ее содержимое часто находится в вопиющем противоречии с благопристойными взглядами на воспитанность и дисциплину...

— Расскажите подробнее о ней, господин профессор.

Ханчке долго смотрит на сумку. Затем на нас. Он все еще не может понять причины нашего появления и интереса.

— Гм, странно... Но если даже это шутка, вы все же мои гости. Поэтому... что, собственно, вас интересует?

— Все, что вы знаете о сумке Фреда.

На минутку Ханчке задумался.

— Я же говорил, что недоволен ею. По личному настоянию господина Энгельса-старшего я обязан проверять ее почти каждый вечер. Этот контроль необходим, так как Фред довольно своенравный юноша... Никто никогда толком не знает, что хранится в его сумке. Наряду с учебниками и тетрадями Фридрих держит в ней различные книги и предметы, которые не согласуются с моими педагогическими воззрениями. Представьте, я извлекал оттуда «Общественный договор» Руссо и портрет Бонапарта, человеческие кости и «Барменский вестник», любовные письма и фривольные рисунки. Однажды обнаружил даже карикатуру на собственную персону с надписью: «Ханчке, профессор и педант». Согласитесь, что такие неприятные вещи мало соответствуют благородным устремлениям вуппертальской гимназии, которая прославилась воспитанием здоровых и умных германцев, верных королю и богу...

Ханчке замолк на мгновение и протянул руку к сумке.

— Думаю, что и на этот раз ее содержимое подтвердит мои слова. Посмотрите...

Строгий учитель открыл сумку и вытряхнул на стол все, что в ней было. Он отложил в сторону два

учебника и несколько тетрадей и запустил руку в оставшуюся кучу.

— Боже праведный, чего только здесь нет!

Один за другим Ханчке брал предметы и громко называл их:

— Стихи Пауля Флеминга... Карты для покера... Гракх Бабёф: «Политические речи»... Бильярдный шар... Пятый номер «Нового музыкального журнала»... Бронзовая фигурка, напоминающая Вольтера... Карикатура на учителя Эвиха... Перчатки для фехтования... «Философия духа» Гегеля... Изображение какой-то голой женщины с... усами... А это что?.. Ай-ай-ай... Дамский браслет с цепочкой и любовным сувениром...

Директор эльберфельдской гимназии окинул нас сердитым взглядом.

— Ну, господа, что вы скажете об этой ярмарке? Зачем все это понадобилось ему: Флеминг, Вольтер, Гегель, Бабёф. Да, здесь собрана целая революция... А эта голая дама? А браслет? Это выходит за рамки дозволенного. Фридрих, видимо, забыл, что он гимназист... А вы называете его «великим человеком»!

— Но...

— Никаких «но»! Душа Фреда совращена разными соблазнами и политическими химерами. Не далее как вчера я имел серьезный разговор с ним... Так дальше продолжаться не может. Старый Энгельс не заслуживает такой обиды. Несчастный отец...

Господин Ханчке извергал потоки гневных слов. Закутанный в тяжелый халат, опершись рукой на стол, он походил на прокурора, который произносит

обвинительную речь. Мы встали и попытались успокоить его, но это оказалось невозможным. Учитель был крайне возмущен.

«Речь» доктора наверняка продолжалась бы долго, если бы появившаяся Марта не прервала его: «Молодой Энгельс вернулся и разыскивает свою сумку».

— О, значит, он уже здесь. Прекрасно! Милая Марта, скажи ему, что мы ждем его...

Господин доктор вытер лицо платком, шумно высморкался и вышел из-за стола.

— Сожалею, господа, но прошу вас удалиться. Разговор с Фридрихом будет нелегким, и я хотел бы вести его с глазу на глаз. Мой педагогический девиз: «Никаких зрелищ!» Прошу извинить меня...

Марта проводила нас до выхода. Дверь за нами еще не затворилась, как до наших ушей долетел взволнованный голос Ханчке:

— Молодой человек, вы представляете, до чего можете дойти с этой дьявольской сумкой?..

Нам стало смешно. Мы так хорошо знаем, до чего смог дойти молодой человек...

Ученическая сумка — одно из доказательств серьезного конфликта между Фредом и вуппертальской гимназией. Она своеобразный бунт против этой старомодной фабрики для производства «здоровых и умных германцев». Все ее содержимое — протестующий вопль против лютеранской ограниченности немецкой педагогической традиции, против устоев так называемой «ученической почтительности». Скрытые в ней книги, рисунки, предметы действуют на сознание вуппертальских учителей словно удар хлы-

ста. Для них это не сумка ученика, а дьявольский мешок, притон самых черных мыслей и идей.

Несчастные учителя!..

В характере Энгельса-младшего была одна великолепная черта. Она приносила ему необыкновенную популярность среди вуппертальских юношей, готовых отдать жизнь за своего «славного коллегу». Со временем, когда Фред подрастет, эта черта не только будет восхищать человечество, но станет примером для миллионов людей.

Речь идет о его чувстве товарищества, о его отношении к мужской дружбе...

Для молодого Фридриха товарищество — это не какое-то временное предпочтение или преходящий каприз. Не плод суеты или скуки. Для него дружба — самое глубокое и чистое чувство. Состояние полнейшего самоотречения, духовной близости и общения. Она не столько радость или счастье, сколько испытание, суровая обязанность, ответственность. Вот почему Фред не искал товарищества повсюду и не дарил дружбой любого, кто потянется к его сердцу. Он жалел людей, обойденных сильной дружбой, и презирал тех, которые сводят свои отношения с другом к обычной игре в любезность.

Еще с детства у Фреда был «первый друг», к которому он был привязан всем своим существом, ради которого готов был на все. Еще с детства он хранит рыцарское отношение к другу, воспитывая в себе благороднейшие черты большой дружбы. Мальчик просто обожает американских индейцев, этих

смелых и прекрасных мужей, которые умеют не только достойно умирать, но и по-настоящему любить и дорожить дружбой. Его восхищала легенда об Ахилле и Патрокле (о, как жгучи слезы друга!), с великим наслаждением он перечитывает те сонеты Шекспира, которые воспевают мужскую преданность. Последние строки одного из них: «Ты видишь конец, мой конец, но он еще крепче связывает наши сердца, друг мой!» — были долгие годы любимым двустишием Фреда. В то же время сын Фридриха-старшего ненавидит изменников и врагов товарищества, тех злых и мрачных людей, которые ради какой-то страсти или горсти злата готовы предать и убить великое чувство дружбы. Он просит деда ван Хаара не рассказывать зловещих историй о дантовом Альберико и шекспировском Яго, пропустить страшные страницы о смерти македонца Клита и об ужасном предательстве Иуды. Он восхищен славным сказанием о Зигфриде до момента предательства, до того гнусного мгновения, когда герой гибнет от руки друга. Фред готов простить что угодно, но только не измену друга, не измену мужской чести, мужской дружбе. Здесь отчетливо проступает романтическое начало в характере Фреда, его глубоко эмоциональное отношение к мужской дружбе. Этот эмоциональный заряд лежит в основе всех его знакомств и связей, которые он установил в годы своей молодости. Еще задолго до встречи с Марксом Энгельс научился любить сердцем, жить для друга. До знакомства с Марксом еще далеко, но у Фридриха уже были свои «самые дорогие» друзья в лице Вурма или Фельдмана, Йонгхауса или Штрюккера, у него большая

дружба с братьями Вильгельмом и Фридрихом Греберами, с этими двумя славными юношами, которых он называет не иначе как «мои дорогие друзья!». Судьба словно нарочно послала ему эту чудесную дружбу, чтобы подвергнуть серьезной проверке, чтобы подготовить к великой парижской встрече с Карлом Марксом — самой чистой и самой удивительной дружбе в истории человечества...

Вся молодость Фреда—апофеоз мужской дружбе. Вупперталь никогда не забудет этого стройного и элегантного юношу, который так хорошо умеет ценить и беречь сильное и прекрасное слово «друг». Каждый вуппертальский ученик считает за честь завоевать дружеское расположение Фридриха, его любовь и доверие, разговаривать с ним или вместе развлекаться. Вот почему возле Фреда всегда шумно, весело, оживленно, всегда есть молодежь, готовая спорить, шутить — поговорить о виршах того или иного поэта либо разделать под орех какого-нибудь незадачливого сочинителя. Вот почему Фред всегда в центре вуппертальской молодежи, окружен веселыми и умными товарищами, уважаем и любим, его ищут, предпочитают и ждут. Без него класс кажется пустым, а на улице его поджидают за каждым углом, чтобы слушать, идти вместе с ним. Не случайно один остряк назвал его «общепризнанным вожаком ученической Вупперталии», а другой пытался провозгласить «первым школьным императором Германии».

Каждый день в дом Энгельсов приходят толпы учеников, желающие видеть Фреда, поздравить его с тем или иным молодецким поступком, поговорить

с ним. Они просят фрау Элизу позвать ее сына и стоят смущенные, даже подавленные величественной осанкой господина Энгельса-старшего, с любопытством рассматривающего их сквозь густой дым своей трубки и искренне удивленного такой популярностью наследника.

Обычно Фред звал гостей в столовую или во двор, где под старой липой стоял небольшой деревянный стол, сколоченный им самим. Он не приглашал их наверх, в свою комнату, так как в ней, по словам его сестры Марии, было много такого, что другие вряд ли поняли бы. В этот фаустовский кабинет имели доступ лишь те, которым были близки его стремления и волнения, его интимный мир. Молодежь знала это и не сердилась, когда он вел ее под липу, говоря, что «наверху не прибрано», или что «отец хочет отдохнуть». Им поистине хорошо и во дворе, у деревянного столика, лишь бы Фред был в настроении, разговорчив, лишь бы дал волю своей фантазии и остроумию. Здесь, под старым деревом, молодые приятели Фридриха чувствовали себя как дома, не боялись, что кто-то за ними будет подсматривать или подслушивать, что кто-то им помешает или спугнет. Рассевшись вокруг стола или растянувшись на траве, они разговаривали часами, счастливые своим уединением и тем, что могут делать то, что им приятно, что над их головами не свистнет розга и не появится молитвенник. В этом смысле место под липой было поистине свободной территорией вуппертальских подростков, маленьким, но славным Эльдорадо их юной и чистой дружбы. В пределах этой дворовой республики они отбрасывали от себя все, что их тяго-

тило, что мешало им, они давали полную свободу своим мечтам и думам, своим неуемным натурам. Здесь юноши забывали, кто они, какими должны быть, и становились теми, кем хотели стать, кем стремились и могли быть. Именно здесь они особенно хорошо ощущали духовное богатство Фреда, разносторонность его талантов и обаяния, непосредственность его чувства юмора. Расположившись кружком, друзья спорили, шутили, переживая радостные, счастливые минуты. Да и как же иначе: их приятель Фред — такой знающий и остроумный, голова его полна столькими мыслями и выдумками, самыми невероятными взглядами и планами на будущее. Он всегда говорит с таким жаром, с такой неудержимой страстью, что его обычные суждения звучат как-то особенно, сильно, привлекательно. Даже тогда, когда он говорит о весьма скучных вещах — вуппертальской поэзии, например, он необыкновенно интересен и динамичен. И единственный недостаток — легкое заикание — не уменьшает его большого обаяния, искрящейся красоты мыслей и рассуждений.

Фридрих никогда не заставлял друзей скучать, испытывать неловкость в ожидании его. Он гостеприимнейший хозяин, не жалеющий сил и времени, чтобы доставить им радость или удовольствие. Еще по пути к липе он смешит их, потешно имитируя утиную походку долговязого Эрмена, компаньона своего отца, или заставляет сгорать от любопытства, шепотом рассказывая о последнем донжуанском подвиге пастора Юргенса. И едва только юноши успевали расположиться под старым поэтичным древом, как

оказывались завороженными Фредом, заинтригованными и возбужденными его остроумными каламбурами, готовыми потонуть в океане тем, которые он им предлагал. Один раз из этого океана всплывает тема «школа», другой раз — «любовь», третий — «литература», а затем (хотя и реже) — «революция». Понятно, ученики не педанты и частенько перескакивают с одной темы на другую, одновременно говорят и о домашних заданиях по французскому языку, и о веселых проделках вуппертальского Эроса, и о новых стихах Карла Бека, и о последних волнениях в Силезии. И конечно же получается пестрый разговор, богатый коктейль из фактов и оценок, который приводит компанию в состояние самого искреннего веселья, частых взрывов смеха и непрерывной импровизации. Затронув какой-либо вопрос, Фридрих пускался вместе со всеми в его обсуждение, или, говоря на школьном жаргоне, аппетитное обсасывание косточек.

Липа перед нами, и мы можем стать свидетелями одного из редких «пиршеств». Спрячемся за стволом и послушаем, понаблюдаем.

Ребята беседуют о литературе. Разговор достиг кульминационной точки, захватил всех. Один из юношей утверждает: «Прав-таки старый Арндт, когда жалуется на современный литературный стиль. Это не стиль, а какое-то безвкусное варево из картофеля, вина и сливок. Третьего дня я читал один отрывок Кюне. Разве это немецкий язык! Боже, какие бесплодные потуги родить изящную фразу...» Другой юноша весело подхватил: «Картофель с вином? Неплохо сказано...» Третий нетерпеливо пере-

бил: «Помолчи, Бруно, вопрос серьезный!» Юноша, начавший разговор, продолжал: «...все: и Гейне, и Гуцков, и Кюне — несчастные жертвы современного стиля. Во имя формы они насилуют мысль. Сравните маститое искусство Лессинга и их акробатические трюки, после которых не можешь спокойно уснуть. Я придерживаюсь традиции. Одно из призваний литературы — успокаивать, поддерживать равновесие духа...» Компания оживилась. Задела категоричность, с которой все это было сказано. Тот, кого звали Бруно, вскочил с земли и развел руками: «Неужели литература не имеет права на развитие! Разве Лессинг — предел и мы должны остановиться на нем! Что же станет тогда с нами, с молодыми, которые имеют свои идеи, свои вкусы, свое право на суждение? Я думаю, что Отто очень консервативен и даже жесток в отношении будущего. Что ты скажешь, Фред, прав ли я?» Все обернулись к деревянному столику, на котором по-турецки сидел Фридрих, обхватив колени руками. Словно удивленный вопросом Бруно, Фред быстро вскинул голову и серьезно проговорил: «Прав, дружище! Лессинг лишь ступенька огромной лестницы, но не вся лестница. Думаю, что Отто погорячился, желая убедить нас в упадке современного стиля...» Глаза ребят блестят. Слышатся голоса: «Продолжай, Фред! Ты говоришь интересные вещи». Отто попытался что-то сказать, но Фред, прервав его, продолжил свою мысль: «Традиция — вещь прекрасная, если только она не мешает современным делам. Всякому времени присущ свой литературный стиль, и никому не дано низводить творчество к одному устаревшему рецепту.

Представьте себе, что ныне мы станем писать в стиле Лессинга, или Глейна, или Хагедорна. Но тогда, дорогой мой Отто, мы должны вернуться к парикам, к танцам эпохи рококо и, что особенно неприятно, к бесчинствам немецких курфюрстов середины XVIII века. Иначе нельзя. Ведь стиль Лессинга и его современников — порождение конкретной действительности. Это своеобразная частица Семилетней войны и всего того времени, при котором один развратник, вроде могущественного Августа, мог покупать любовниц у их собственных мужей за пятьдесят тысяч талеров или выменивать на зáмки. Разве мы сейчас встречаемся с подобным? Разве Гейне и Гуцков состоят на службе при каком-нибудь королевском дворе и вынуждены носить дамские туфли наподобие Людовика или Иосифа австрийского? Конечно же нет. Наше время ушло далеко вперед, и мы не должны держать его в узде традиций. Любой стиль умирает вместе с эпохой, его породившей. Иначе мы и сейчас писали бы на манер Аристофана или Вергилия. Но не кажется ли вам, друзья, что ныне даже стиль Жана Поля уже немного устарел, уже не вполне отвечает нашим представлениям о современном литературном творчестве...»

Фред на мгновение остановился, соскочил со столика и встал среди друзей. Все смотрели на его открытое, вдохновенное лицо. В этот момент он был так похож на поэта, на спустившегося с облаков юного и могущественного бога, говорившего не только ярко, но и поистине прекрасно. Даже Отто, захваченный его словами, не смог возразить, чтобы защититься. Фред провел рукой по волосам и про-

должал: «...я думаю, что современный стиль является отличным образцом стилистики вообще. Я его не только предпочитаю, но и люблю, стремлюсь овладеть им. Он вобрал в себя все достоинства литературного творчества предшественников: краткость, ясность, остроумие, чередование эпической плавности с блестящими образами и изящными взлетами мысли. Но больше всего мне нравится в нем то, что он дает возможность для проявления самых различных индивидуальностей. При нынешнем стиле никто не может преуспеть в подражательстве. Он требует от каждого писателя своеобразия и самоутверждения, стрельбы из собственного лука в свою дичь или в своего врага. Вооруженные им, перед нами выступают совсем независимо друг от друга такие писатели, как Кюне и Гуцков, Гейне и Винбарг, Бёрне и Бек. Кюне пишет уютно и живописно, Гуцков — удивительно точно, Гейне — ослепительно, Винбарг — лучисто, Бёрне — уничтожающе, особенно в «Менцеле-французоеде», а Бек, хотя еще не вышел за рамки опытов,— колоритно и бурно. Разве появление столь различных почерков не достаточно для славы любого литературного стиля? Конечно же, говоря все это, я не хочу быть превратно понятым. Не хочу, чтобы Отто подумал, будто я пренебрегаю великими мастерами прошлого, колоссами, стоящими вне литературных бурь современности. Колоссы вечны, и я часто прихожу к их подножиям, чтобы подышать благодатным воздухом. Только перед вашим приходом я наслаждался гётевскими песнями, которые особенно прекрасны в сопровождении клавесина. Но, милые мои друзья, одно дело любить

титанов, а другое — копировать их, быть прикованным к ним. Здесь я не согласен с нашим Отто. Можно любить Лессинга, но не должно подражать его манере писать. Время, в которое мы живем, нуждается в новом языке, в новом стиле, в новых идеях. Кто не может или не хочет понять этих простых истин, тот обязательно испытает горькие разочарования. Традиция — это опыт предшественников, а не их путь. Мы можем многому поучиться у традиций, но не должны ими руководствоваться. Ничего нет худого в том, что новые люди не повторяют старых путей. Лессинг велик, но он в прошлом. Гейне еще не величина, но у него все впереди. За ним будущее, и потому я за него. Я предпочитаю стиль, из которого он рождается. Старики жили достаточно, все имели, и оставим их в покое. Мы молоды, и нам более приличествует идти рука об руку с молодыми. С теми, которые еще не имеют ничего, но несут в себе все, или, во всяком случае, многое...»

Стоя за стволом старой липы, мы удивляемся, как смело и умно говорит Фред. Как живо звучит здесь, во дворе Энгельсов, в один из летних дней 1837 года его горячее слово. Наэлектризованные пламенной речью, вуппертальские ученики, возбужденные и жестикулирующие, окружают своего приятеля, готовые задушить его в объятиях. Бруно всхлипнул от радости: «Фридрих, дорогой, почему не напишешь обо всем этом в «Телеграф» Гуцкова? Успех обеспечен». Стоявший в стороне Отто убежденно заметил: «Не будь здесь Фреда, не миновать бы скандала...» Энгельс повернулся к Отто, сердечно обнял его и весело проговорил: «Что же тут страш-

ного, дорогой мой Отто! Молодости вряд ли приличествует благоразумие. Скандал из-за дела намного достойнее пустого реверанса...» Эти слова Фреда были также приняты «на ура». Бруно опять торжествовал. Он кувырнулся через голову и радостно воскликнул: «Эй, Отто, сдавайся!»

Постепенно компания утихомирилась. Последняя реплика Бруно незаметно повернула разговор в новое направление. Вместо литературы была затронута другая, более свободная тема. Покусывая длинную соломинку, Фред проговорил сквозь зубы: «Вчера вечером на балу у Фридманов господин Круг не раскланялся с мадам Соварж, пришедшей на бал с двумя дочерьми. Все были потрясены, особенно хозяева дома. Отличившийся теолог заявил, что не может раскланиваться с дамой, которая не постеснялась курить, как мужчина, танцевать вальс и приглашать в свой дом сомнительных лиц...» Ошеломленная молодежь на мгновение замерла. Возможна ли такая грубая выходка? Да еще в доме Фридманов — цитадели вуппертальской аристократии! Все поражены. Один из юношей осторожно спросил: «А как ответила на обиду мадам Соварж?» Это долговязый Герман, по уши влюбленный в мадемуазель Ирен, младшую дочь мадам Соварж. «О, как истинная француженка!— Фред выплюнул соломинку и повысил голос.— Она держалась так, словно ничего не произошло. Закурила папиросу, попросила оркестр сыграть вальс и громко заявила господину Фридману, что никогда и нигде не чувствовала себя столь великолепно. Круг пришел в бешенство. Он попытался произнести одну из своих проповедей о пад-

шей Магдалине, но мадам Соварж опередила его и рассказала гостям одну весьма пикантную историю из своих парижских приключений. Все от души смеялись, без колебаний согласившись, что в Париже живется куда веселее. Круг не выдержал и ушел в разгар бала. Это никому не испортило настроения. И конечно, не помешало мне вволю насытиться шоколадным тортом и задержаться в обществе мадемуазель Ирен и мадемуазель Жаннет...»

Под липой опять стало весело. По саду разносился смех. Теперь уже и Отто трясся от хохота. Он снял очки, чтобы они не упали на землю, и проговорил задыхаясь: «Ну и лукава же эта Соварж!» Посветлевший от радости, влюбленный Герман ткнул его в бок. «Ты не находишь, что крошка Ирен — сущий дьяволенок?» Неожиданно Бруно перестал смеяться и грустно посмотрел на Энгельса: «И все же торт прекраснее, не так ли, Фред?» Словно вспомнив о чем-то очень важном, Фридрих всплеснул руками: «Ой, какая же я разиня! Друзья, быстро в столовую! Сегодня мама решила нас удивить...» Все вскочили и шумно последовали за Фридрихом. Сюрпризы фрау Элизы всегда очаровательны. Высоко подняв цилиндр, Бруно вдохновенно продекламировал:

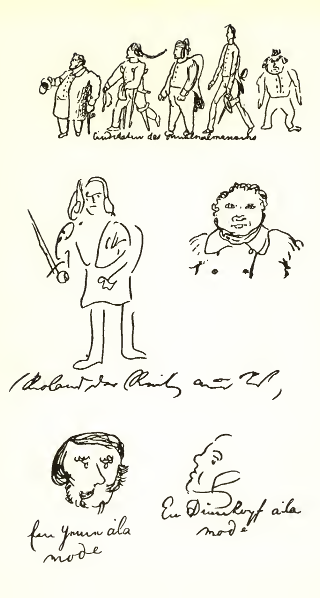
Все ваши споры и сравненья
Не стоят торта и варенья.

Дружеские встречи в комнате Фреда сильно отличаются от встреч во дворе. Если там, внизу, есть место для всех и можно говорить обо всем, то здесь, наверху, бывают только пятеро самых близ-

ких, самых доверенных, самых интересных собеседников. Обычно они приходят под вечер, целуют руку фрау Элизы, осведомляются о делах и здоровье господина Энгельса и скрываются в комнате с такой подчеркнутой серьезностью, которая заставляет насмешливую Марию удивляться и строить за их спинами комические гримасы. Это аккуратные и со вкусом одетые юноши из богатых вуппертальских семейств, с бледными одухотворенными лицами и хорошими манерами. Они знают, что значит войти в солидный дом, и потому никогда не бегут по лестнице, не повышают тона, не делают ничего такого, что могло бы нарушить установившийся порядок. Даже в комнате, оставшись только с Фредом, они не выходят за рамки приличий, остаются такими же учтивыми, изысканными, серьезными. Каждый из них имеет свое излюбленное место, которое и занимает. Поэтому Фридрих заранее подготавливает комнату так, чтобы всем было в ней удобно и приятно. Он знает: одно из мягких кресел нужно пододвинуть к окну. Там любимое место Петера Йонгхауса. Немного впереди, почти у самого стола, стул Фельдмана. Братья Греберы предпочитают взгорбившийся верх сундука, а Густав Вурм — левую сторону кровати у черной этажерки со склянками и покрытым лаком черепом. И только Фред не имеет постоянного места, потому что любит прохаживаться, быть ближе к тем, кто его слушает, когда он говорит. Чаще всего он ходит от стены к стене или стоит посреди комнаты, глубоко засунув руки в карманы халата и откинув назад голову. Это, разумеется, не мешает гостям спокойно оставаться на своих местах и до

конца сохранять благовоспитанность. В отличие от ребят, собирающихся во дворе, они беседуют почти как взрослые — сдержанно и рассудительно, выказывая восхитительное уважение друг к другу, преисполненные уверенности в знании жизни и тех предметов, о которых ведут разговор. Их споры бывают спокойны и сдержанны, без излишних эпитетов и грубостей. Они напоминают скорее приятный и тихий разговор, где всегда есть место хорошей шутке. Это вовсе не значит, что здесь нет расхождений во мнениях, противоречий, конфликтов, не проявляются характеры и темперамент, что это усталые или скучные люди. Тут есть все то же, что и во дворе, но выглядит оно более совершенно, окрашено большей культурой и внутренним аристократизмом. Вот почему посетители комнаты — самые желанные гости Фреда, его первые друзья и собеседники, с которыми он любит пускаться в самые трудные и опасные путешествия по темным лабиринтам немецкой мысли. Молодой хозяин принимает их сердечно, его нисколько не раздражают ни привычки приятелей, ни их странности, ни стремления своим видом производить впечатление на окружающих и поведением внушать уважение. Его не раздражают даже различия в их взглядах и интересах, хотя они порождают частые споры с тем или другим из них. Так, например, братья Греберы — рьяные лютеране и начисто отрицают «Жизнь Христа» Давида Штрауса. Фельдман разделяет взгляды Шеллинга о государстве и не желает даже слышать о бунтарях из Берлина, которые требуют на страницах газет и в университетских аудиториях низвержения мо-

Рисунки из писем Фридриха Энгельса.



Candidaten des Musenalmanachs
àla mode
Ein Dünnkopf àla mode





Город Бремен, где Фридрих Энгельс работал в конторе крупной торговой фирмы в 1838—1841 годах.
С гравюры того времени

нархии. Йонгхаус проникся взглядами Руссо и считает, что только сближение с природой может спасти человечество от трагедий современного общественного устройства. А Вурм, милейший Густав Вурм весьма интересуется бюллетенями дюссельдорфской биржи, что делает его очень грустным или очень веселым, а иногда и немножко смешным. Фред терпит все эти различия, так как знает, что над ними господствует одно большое и чистое чувство, которое связывает юношей друг с другом, сближает и объединяет их. Это их общий интерес к литературе и искусству, к сложным проблемам эстетики, к прекрасному. Они исповедуют одного бога — Гегеля, у всех одна цель — творчество, духовное совершенствование. Ради этого бога, этой цели Фридрих готов простить им все, ибо, как любит говорить старый ван Хаар, стремление к прекрасному — самая прочная основа истинной дружбы...

Да, стремление к прекрасному — это как раз то, что влечет юношей в комнату Фреда, объединяет их среди горы книг, газет и фаустовских колб. Они идут сюда, переполненные своими рассуждениями и сомнениями, готовые раскрыть сердца друг другу, чтобы слиться в едином восторге или столкнуться в схватке умов. По какому-то неписаному закону каждая их встреча начинается с музыки. Заняв свои точно определенные места, они слушают, как Фред играет сочинения папаши Рамо или «своего» Баха, утопают в светлых мелодиях менуэтов и в бурных потоках фуг, наслаждаются вальсами, сонатами. И это не притворство, не ритуал, а подлинно поэтическое восприятие музыки, искренние порывы сердец,

романтическое общение с прекрасным. В эти чудеснейшие минуты музыки и молчания, закрытых очей и мягких теней комнату как бы покидает обыденность, она теряет свои точные очертания и превращается в подобие старинного храма, опустившегося на морское дно, в подобие коралловой пещеры, заполненной наядами и невиданными поющими сиренами. Юноши сидят зачарованные, как бы растворившиеся во мраке, рассеиваемом пламенем свечи, загипнотизированные магией тонов, звуков и вздохов клависина, поэзией пальцев, бегающих по клавишам. О, это пленительнейшие минуты и часы, когда Фред становится истинным музыкантом, полностью слившимся с инструментом, с его нежностью и бурями. Он играет, забыв обо всем, не помня даже себя. Его сильное тело устремлено вперед, а на лице — прекрасный пламень вдохновения. В такой момент зачарованные гости просто немеют, восхищенные его волей, чувством, магией его рук. Они готовы слушать до изнеможения, жадно воспринимая все, что предлагает им Фред, мысленно возвеличивая его и называя не иначе как «маэстро»...

Но сколько бы ни продолжался концерт, он не займет весь вечер. Совсем неожиданно, на середине какой-нибудь сонаты или фуги, Фред кладет руки на колени, поворачивает голову к друзьям и говорит тихим, немного усталым голосом: «Что же это, господа, я увлекся, а вы молчите, не остановите меня». Словно пробудившись от долгого и прекрасного сна, господа смущенно улыбаются и искренне сожалеют,

что Фред прервал игру, что на крышке клавесина защелкнут маленький золотой замок. Но делать нечего: наступает черед большому разговору — долгим странствованиям в мире поэзии, истории, изобразительных искусств. Фред встает, прохаживается по комнате, и разговор начинается незаметно, течет легко, будто каждая реплика заранее отрепетирована, будто все, о чем здесь говорится, изучено, обдумано, сверено. У каждого из друзей своя излюбленная тема. Поэтому направление разговора зависит от того, кто его начнет. Если первым заговорит Вурм, то речь непременно зайдет об Иммермане и Шамиссо, их поэмах и воспоминаниях, об успехах и срывах романтизма. Фред отлично знает это и потому, прежде чем Густав откроет рот, весело подзадорит: «Снова Платен позавидует своим старым коллегам...» Фельдман, наоборот, всегда старается обойти литературу и начать разговор о великих мастерах кисти. Он может часами говорить, например, о поздних офортах Рембрандта или о борзых Брюггера. Йонгхаус всегда под ручку с Гегелем, и поэтому он непременно начнет с какой-нибудь сильной личности — с Цезаря или Наполеона или с мудреных рассуждений об «абсолютном духе» и его проявлениях в истории. Оба Гребера по-своему также неисправимы — у них свой божок — «Немецкая народная библиотека». Они обязательно начнут с какой-нибудь этической проблемы или средневековой легенды вроде «Герцог Генрих — лев». Но независимо от предложенного начала разговор никогда не бывает нудным, скучным, не заводит приятелей в тупик. Любая из поднятых тем пробуждает

множество мыслей, ставит самые разные этические и общественные вопросы, которые захватывают компанию, заставляя ее пытливо искать, волноваться, думать. Начатый разговор катится словно снежный ком, становится все более крупным, динамичным. С ним в комнату врываются порывы ветра, вспышки зарницы, заставляя все вокруг звенеть и петь. Фред бесконечно любит эти мгновения взлета разума, когда каждый из гостей раскрывает свое сердце, когда глаза горят сильней, а в голосах слышится медь амбиций, чувствуется сила атакующей мысли. В такие минуты он незаметно отходит в сторонку и, пользуясь этим прекрасным мгновением, быстро набрасывает портреты увлеченных ребят. Несколько торопливых штрихов — и на бумаге запечатлены орлиный нос Йонгхауса, полные щеки Вурма, тонкие шеи Герберов, прозрачные уши Фельдмана. Еще несколько штрихов — и увековечены их улыбки, позы, аккуратные прически. Это моментальные, не претенциозные рисунки, не столько точные, сколько верные; веселый экспромт карандаша, который успевает что-то сказать о каждом. Это добрый и чистый смех Фридриха, сумевшего, не выходя за строгие рамки разговора, принести маленькую радость, вызвать веселую улыбку, ни для кого не обернувшуюся обидой или раздражением. Гости давно знают об этой слабости Фреда и потому делают вид, что не обращают на него внимания. Но всякий раз они берут эти листки из рук хозяина и вместе с ним смеются над остроумными шаржами. Все это успокаивает нервы, делает разговор еще более приятным, легким, сердечным. Обычно Фельдман забирает и

прячет некоторые из этих быстро набросанных рисунков, потому что про себя он давно решил, что из Фреда выйдет большой художник. Не забывайте же, предки Фридриха вышли и из Голландии...

...На этот раз Фред не долго музицировал. Он прервал игру где-то посередине знаменитой бетховенской сонаты ре минор, после того как Йонгхаус вскочил со стула и тихо попросил:

— Довольно, Фридрих, прошу тебя. Это может свести меня с ума...

Фред медленно опустил крышку клавесина. Все повернулись к Петеру.

— В чем дело, дружище?— спросил Вильгельм Гребер.

Йонгхаус вновь опустился на стул и быстро, не переводя дыхания, проговорил:

— Две недели назад я был с отцом в Бонне и слушал там Пятую симфонию. Дирижировал господин Феликс Мендельсон, друг нашего Шумана. После того не могу слушать никакой другой музыки. В ушах все время звучат барабаны, трубы, флейты, кларнеты, непрерывно что-то рушится и кто-то плачет, пытается схватить меня, вознести, зажечь...

Фридрих, тихо стоявший у клавесина, проговорил:

— Почитай за счастье, Петер, что ты услышал оркестр, который с таким блеском исполняет Бетховена. Наша филистерская публика все еще отворачивается от него. Она не может простить ему его симпатий к Бруту и восхищений Конвентом...

Вурм обратился к Фреду:

— Слушал ли ты эту симфонию, маэстро?

— Увы, Густав, нет... Но мне говорил господин Пютман, что это нечто грандиозное...

(Фред услышит Пятую симфонию Бетховена в том же исполнении лишь три или четыре года спустя, в 1841 году, в Берлине. Тогда он вспомнит об этом разговоре с друзьями и напишет своей сестре Марии: «Блестяще исполнили симфонию вчера! Ничего подобного ты не слушала в своей жизни, если только уже не познакомилась с этим великолепным произведением. Отчаяние и противоречие звучат в ее первой фразе, элегическая скорбь, нежные жалобы любви — в адажио и мощные, полные юношеской силы, ликующие трубные звуки свободы — в третьей и четвертой частях...»)

В разговор вступил Фельдман.

— Всегда, когда я слушаю Бетховена,— говорит он,— я думаю о Рембрандте. Для того и другого искусство — тезис и антитезис, непрерывное противопоставление двух начал — черного и белого. Даже соната, которую только что слушали, напомнила мне классический рембрандтовский пейзаж середины XVII века...

— Может быть, ты, Фельдман, по-своему и прав,— вмешался Фридрих Гребер,— но я думаю, что Бетховена можно сравнивать только с Гёте. В отличие от французов и итальянцев, мы, немцы, не имеем двойников среди других наций...

Замечание старшего Гребера оживило компанию. Фред быстро пересек комнату и стал у стола, за спиной Фельдмана.

— Думаю, что ошибаешься, дорогой Фриц,— живо сказал он.— Бетховен более цельный, чем Гёте. Он знает, что ищет в жизни и искусстве, и всегда ищет целеустремленно, без поклонов и реверансов. В отличие от него, старец из Веймара прекрасно владеет тайнами этикета. Он искусный дипломат, для которого не существует ни совершенного человека, ни подлинного борца. Вы знаете, как я люблю Гёте, и все же я не воспринимаю его безоговорочно, не преклоняюсь перед каждой его строкой. Всегда, когда заучиваю «Фауста» или распеваю песни поэта, я чувствую, что он колоссально велик. Иной же раз, когда вспомню о его прогулках в Теплице или листаю его доклады как тайного советника, с ужасом замечаю, что он чрезвычайно мелкий и осторожный, заурядный и всем довольный мещанин. Поэтому я не хочу сравнивать с ним Бетховена. Даже в Теплице Бетховен держал голову прямо. А вот то, что между Рембрандтом и Бетховеном есть много общего, тут я готов согласиться с Фельдманом. Не только в творчестве, но и в жизни обоих титанов. Судьба их была бесконечно горькой...

— Слышишь ли, Фриц?— воскликнул радостно Фельдман.— Ты должен извиниться перед великим голландцем...

Но прежде чем Гребер открыл рот, поднялся Вурм и быстро сказал:

— Не слишком ли ты суров к Гёте, Фред? Все же он был аристократом и поэтому не мог жить, как

Бетховен, вне условностей этикета. Ты ведь знаешь, что позволено в салоне, не позволено на улице...

Фред снова пересек комнату. Он явно возбужден.

— В искусстве нет аристократов и плебеев, дорогой друг. Здесь все равны. Да разве Бетховен не мог стать главным капельмейстером при австрийском дворе? Разве он не мог прибавить к своей фамилии наше надменное «фон» или глуповатое французское «де»? Конечно же мог, Вурм, но он не находил нужным кокетничать с властями предержащими, потому что знал свою силу. Если Гёте кланялся веймарскому герцогу, Бетховен повернулся спиной к Наполеону и перестал дирижировать, когда в зал вошел Меттерних. Думаю, что это великолепно характеризует его. Насколько величественнее был бы наш великий Гёте, если бы он мог поступать так же...

Постепенно разговор зашел о компромиссах в искусстве и в жизни, о моральной чистоте художника, о конфликтах между ним и обществом.

— Я отвергаю,— возразил Йонгхаус,— как несостоятельные, любые попытки заглядывать в интимный мир художника и всякие предположения и заключения, построенные на этом основании. Частная жизнь — одно, а искусство — другое. В истории немало примеров, подтверждающих это. Одно дело Аристотель-рабовладелец и совсем другое — мыслитель. Одно дело Бомарше-спекулянт и совсем другое — писатель. Нет нужды рыться в белье гениев, ибо, каким бы оно чистым ни было, это все же белье...

Вильгельм Гребер тихо кашлянул. Это значило, что он хотел высказаться.

— Видишь ли, Петер, искусство — это вдохновение души, и потому оно зависит от ее чистоты. Разве солнце могло бы слать нам тепло, если бы оно само не имело его? Если согласимся, что искусство существует, чтобы делать людей более совершенными, тогда мы должны признать, что те, кто причастен к нему,— лучшие из лучших. Иначе мы придем к абсурду...

— Извини, Вильгельм,— прервал Вурм младшего Гребера,— но и на солнце, как известно, есть пятна. Думаю, что ни лишний поклон, ни торговая сделка не убивают величия художника. На то он и художник, что стоит выше глупостей обыденщины...

— Можно ли допустить, чтобы вершину Монблана загрязнили сточные воды,— в сердцах заметил Вильгельм.

— Верно, Вилли, ни к чему нечистоты на Монблане!— отозвался Фред, бросаясь в новую атаку.— Я согласен с Гребером! Искусство нельзя создавать грязными руками. Правда, бывают случаи, которые говорят, что и такое возможно, но они суть не правило, а исключение из него. Петер попытался подкрепить свою точку зрения двумя такими примерами, но крайне неудачно. Повторяю, неудачно, ибо рабовладелец Аристотель ничем не помог Аристотелю-мыслителю, а спекулянт Пьер Огюстен Карон де Бомарше — писателю Бомарше. Не случайно первый так и не достиг величия Сократа, а второй — литературной славы Мольера. И оба преуспели бы гораздо больше, если бы не пытались делать сомнительную

карьеру, если бы один презрел двор Александра, а второй — двор Луи Капета. Искусство, большое, подлинное искусство, не приемлет двойственной жизни. Нельзя днем быть Шейлоком, а вечером — Шекспиром. Талант слишком хрупок. И тот, кто пытается обмануть его, лишается его навсегда. Прекрасное тем и замечательно, что не терпит ни фальши, ни корысти. Красота несовместима с какой бы то ни было грязью...

Фред говорил горячо и страстно. Он доказывал, что художник не должен обольщаться мелкими выгодами, ибо это развращает его, делает льстецом пред сильными мира сего. Нет ничего более жалкого, чем торговля своим талантом, компромиссы в творчестве ради титула или мошны.

— Общество и его институты,— продолжал Фред,— весьма коварны, и одаренные люди должны остерегаться их. Некий тщеславный министр хочет обедать с известным писателем. Это не столько оригинально, сколько забавно. Ну что хорошего в пересудах, как министр М., например, спорил на бутылку вина и жареного цыпленка с господином Вольтером? И самое чудовищное в том, что завтра же весь город узнает о великодушии министра и о слабости к гастрономии писателя. Согласитесь же, что это более чем недостойно! Разве допустимо, чтобы творцы прекрасного играли роли жалких шутов, собутыльников, услужливых девиц, которых достаточно поманить пальцем? По-моему, нет, нет и нет! Для меня они так же велики, как и герои, и поэтому должны сторониться всякой салонной мишуры. Одаренным людям гордость приличествует куда больше, чем

любые ордена, почести и блестящие кареты. Я уважаю только тех из них, которые сохраняют свою гордость. И, разумеется, чистоту. Первозданную чистоту снегов на вершинах Гарца...

Тихий стук в дверь прервал монолог Фреда. Послышался голос матери:

— Фред, родной мой, уже за полночь!

Молодые люди вскочили словно ужаленные и стали торопливо прощаться со своим другом. Они должны немедленно идти, ибо домашние наверняка ждут их. Как быстро прошло время! Фридрих искренне сожалеет, что разговор остался незаконченным.

— Но ничего, друзья! До завтра. В то же время и на ту же тему... Спокойной ночи!

Комната Фреда помнит много подобных бесед и споров между друзьями, хранит их тени и звуки, мысли и страсти. Это делает ее особенно счастливой и богатой, просто неповторимой. Ночью, когда Фред задует свечу и заберется в постель, ее потемневшие стены рассказывают всему дому, что слышали и что видели.

Дом потрескивает от удовольствия и слушает удивительные истории о друзьях. «Взгляни на этих молодых господ! Думается, что мы с трудом можем теперь вспоминать своих первых владельцев, которые читали только Библию и пили простую водку». «Как быстро меняются люди!» — философски заметил старый дом, погрузив свое деревянное тело в теплые объятия ночи...

Разумеется, не следует думать, что прекрасные качества Фреда проявляются только в жарких спорах. Ведь кроме науки и искусства бог, дабы не оставить без дела дьявола, создал еще игры. Буйные, чудесные, грандиозные вуппертальские игры, бросающие благочестивых граждан в нервную дрожь и повергающие их в страх перед усатыми питомцами господина Франца. Это разудалые игры, которым нет равных во всей Рейнской долине и которые даже не снятся самым отчаянным сорванцам. Молодой Энгельс не может представить себе жизнь без этих игр и самозабвенно участвует в них, отдавая им все силы своей страстной души. В водовороте игр он освобождает все «склады» своей энергии, дает полную свободу своей незаурядной силе и огненной фантазии. В их вихре он забывает все на свете, даже книги, забрасывает элегантный костюм и становится простым парнем, властно увлекающим гурьбу друзей через сады и огороды, ловко преодолевающим высокие каменные заборы и с ходу очищающим чужие силки, поставленные для ловли щеглов.

Фред не умеет щадить себя, и потому все шалости, в которых он участвует, превращаются в феерические праздники юношеской удали. Выбежавшие с ним на улицу вуппертальские юноши наперед знают, что им предстоит поистине веселая игра, что час-другой они будут где-то между небом и землей, околдованные его поэтическим воображением. Прежде, когда они были помоложе, это воображение крепко привязывало их к своим крыльям и уносило в чудесные путешествия. Теперь оно превращает их в рыцарей и заставляет искать по чердакам и подвалам

старые заржавленные мечи. В другой раз он со всей ватагой бросается в окрашенные воды Вуппера, внушив им, что они индейцы из племени, прославившегося своей смелостью, и им нужно переплыть священный Юкон. В третий — прямиком приведет к обрушившейся стене нижнебарменского кладбища. Здесь они непременно разделятся на две группы и начнут играть во «французскую революцию». Любая из этих игр — прелюбопытнейшее зрелище, в котором ребята участвуют увлеченно, искренне переживая свои роли. Они носятся по садам, путаясь в своих картонных латах, ныряют в реку, украшенные перьями и ивовыми ветками, взбираются на кладбищенскую стену и ведут бои на деревянных рапирах. В центре игр — их режиссер, дружище Фред, всецело захваченный собственным воображением, размахивающий своим мечом или рапирой, разгоряченный и воодушевленный. Он всегда впереди, выкрикивающий боевой клич, громящий воображаемого противника и немного сожалеющий, что мама или Мария не имеют возможности хотя бы издали взглянуть на него. Игры не исчерпываются сражениями, в ходе которых случается, кому-нибудь разобьют нос или в клочья разорвут штаны. Их репертуар бесконечно богат, и никто не огорчается, если игра прерывается, ибо все знают, что фантазия Фреда безгранична и сразу же может начаться новая, еще более интересная игра. Надоест им вести «кровавые битвы», они сбрасывают с себя ненужные доспехи и предаются другим, не менее захватывающим занятиям. Бегают наперегонки на ходулях, бросают тростниковые кольца, ходят на руках, пускают

бумажных змеев, гоняют голубей, дрессируют щенят. Юноши взрослеют, и воображение Фреда всякий раз ведет их к не игранным еще играм, новым проказам. Изменившись сам, он изменяет и всех своих друзей, придумывая для них все более трудные, а главное, более мужественные развлечения. Недавних «рыцарей» и «индейцев» Фридрих превращает в отличных гандболистов и игроков в кегли, в мастеров подводного плавания и фехтования, в страстных шахматистов и шашистов. Теперь они идут в поле не для ловли певчих птичек, а посмотреть, чему Фред учит своего вороного Фараона, как выполняет на нем сложнейшие фигуры верховой езды.

Смена игр не убивает романтической жилки Фреда, не притупляет его интереса к их живой, подвижной стихии. И сейчас, как и прежде, повзрослевший Энгельс отдается им всем сердцем, всеми фибрами своей неистовой души. Молодежь и сейчас восхищается его стремительностью, когда в руках он держит шпагу, его решительностью, когда он ныряет в Вуппер и переплывает реку под водой. Они и сейчас кричат «ура», когда Фред перепрыгивает на коне через плетни и заборы и на бешеном карьере перегоняет мчащийся в Эльберфельд почтовый дилижанс.

Да, Фридрих уже не ребенок. Но он по-прежнему самозабвенен и подвижен, все также способен играть дотемна, до полного изнеможения. Он по-прежнему любит вольные вуппертальские игры, отдает им весь свой жар, свою фантазию, всю свою окрыленность и чистоту.

Но вуппертальская молодежь ценит Энгельса не только за эти качества. Особенно высоко она ценит его за другое — за то, что в их глазах возвышает Фреда и делает его самым желанным участником их шалостей,— за его общительность. В отличие от других сыновей местных фабрикантов и торговцев, он не кичится своим происхождением, не выделяет себя из общей массы, не вносит в игры высокомерия своего класса. Очутившись на улице или в поле, наш герой становится самым обыкновенным юношей, таким же, как все его товарищи. Фридрих просто не терпит скучных и надутых молокососов, которые с малолетства силятся выглядеть «господами», предпочитают мальчишеским компаниям общество благовоспитанных гувернанток и вместо вольного воздуха игр дышат пыльным воздухом контор. Он смеется над их рыхлостью, неуклюжестью, над их задранными носами и почерневшими от сладостей зубами. Он знает, насколько праздна и пуста их жизнь, и никогда не общается с ними, не участвует в их «парадных» прогулках по улицам, запруженным зонтами и экипажами, шумными толпами пасторов и воспитателей, лакеев и голодных родственников. Нет, Фред предпочитает своих обыкновенных, но веселых друзей — увлеченных, сердечных и разбитных. Вот почему он с ними всегда нежен и ласков, счастлив их доверием, их молчаливой, но искренней любовью. Даже строгие внушения отца не в состоянии отделить его от шумной гурьбы этих чудесных юношей, которые очень хорошо знают цену честному слову и подлинной дружбе. На гневные отцовские слова: «Ты часто забываешь, кто ты есть, Фред!» — сын

всегда спокойно и решительно отвечал: «Я обыкновенный человек, отец! Самый обыкновенный, и только!..»

* * *

— Если хотите еще что-нибудь узнать об ученике Фридрихе Энгельсе-младшем, обращайтесь к доктору Клаузену, его учителю по литературе. Их уважение друг к другу безгранично...

После этих любезных слов старый школьный сторож Эльберфельдской гимназии подробно объясняет нам, где, когда и как мы можем найти господина Клаузена:

— Обычно он дома, сидит в небольшой садовой беседке и читает толстые книги.

Мы сердечно благодарим «господина вице-Ханчке» (так ученики называют веселого сторожа), опускаем в его руку два талера и отправляемся искать учителя.

Третий старший учитель доктор Клаузен живет где-то позади известного эльберфельдского казино, на небольшой тихой улочке в скромном аккуратном домике с медным петушком на коньке крыши. На побеленных стенах его резко выделяются старые, почерневшие от времени балки, образующие традиционные крупные квадраты и ромбы. Островерхая крыша покрыта разноцветной жестяной чешуей, а окна — узкие, высокие, с легкими деревянными жалюзи. Это старый вуппертальский дом, пахнущий воском и цветами, располагающий к покою и смирению. Тот самый дом, в котором Гофман или братья

Гримм могли бы с удовольствием сочинять свои фантастические сказки...

Хозяин дома, доктор Клаузен,— сухой, высокий старик, чуть сгорбившийся, с по-детски ясными глазами. Лицо испещрено глубокими морщинами, которые придают ему подвижность и выразительность. Большая лысая голова с венцом длинных седых волос, завязанных на затылке черной шелковой лентой. Учтиво представший перед нами в своем узком сюртуке, он живо напомнил старого учителя музыки времен Моцарта, этакого симпатичного венского «маэстро», никогда не расстающегося со своим гениальным учеником и камертоном. Есть что-то общее между домом и его хозяином, между застоявшимся запахом цветов и длинными прядями седых волос, венком окружившим красивую голову учителя.

— Позвольте пригласить вас в беседку, господа. Там мы сможем поговорить более приятно...

Голос доктора Клаузена мягкий, чарующий, отражающий его внутреннюю чистоту, успокаивает и привлекает собеседника. Это голос, который не любит крика, не режет уха и заставляет слушать внимательно.

Садовая беседка Клаузена невелика, но на редкость поэтична и как бы дополняет сказочную атмосферу дома. Потонувшая в благоухающих волнах распустившихся кустов роз, она манит отдохнуть в ее тени, за решеткой тонких березовых веток. Осведомившись о цели нашего визита, Клаузен, польщенный оказанной ему честью, с сердечностью пригласил нас присесть. В отличие от доктора Ханчке, он

не задавал нам излишних вопросов, что позволило вести разговор искренне и свободно. Учитель говорил медленно, тихо, с нескрываемым внутренним достоинством, посасывая крепко сжатую в кулаке трубку.

— Фред — моя гордость, господа, и я всегда волнуюсь, когда говорю о нем. Простите меня, если несколько увлекусь, это ведь естественно для учителя моих лет, всю жизнь учившего увлеченности других...

Доктор Клаузен на мгновение замолк и, как бы собираясь с мыслями, смотрит на свои белые руки, устало опущенные на колени.

— Любой учитель,— продолжает он,— ищет, так сказать, своего «настоящего ученика», того доброго и умного юношу, которому отдаст все свое сердце. Многие годы я искал «своего ученика» и наконец нашел его в лице Энгельса-младшего. Мы с Фредом поняли друг друга на первых же уроках в минувшем учебном году, когда изучали старых немецких классиков. Никогда не забуду, как Фридрих опроверг содержащуюся в учебнике трактовку творчества Мошероша и Гриммельсхаузена. Там сказано, что оба эти имени не стали значительными в литературе, а произведения этих авторов отличаются больше язвительностью, чем эстетическими достоинствами. Фред с отличным знанием предмета доказал, что это совсем не так, сделав блестящий критический анализ «Солдатской жизни» и «Симплицианских писем». Вопреки строгим канонам нашей педагогики я поддержал этот открытый спор с учебником, так как мысли ученика в точности совпали с моими собст-

венными. С тех пор между нами установились полное доверие, творческая дружба, которой я очень горжусь...

Клаузен остановился, чтобы разжечь потухшую трубку, и продолжал:

— Неукротимый, независимый ум Фреда производит на меня самое сильное впечатление. С абсолютной уверенностью могу вам сказать, что у сына Энгельса своя голова на плечах. Фридрих изучает немецкую литературу по оригиналам и открывает учебник только для того, чтобы поспорить с ним. Он не терпит официальных установок и рецептов и часто признавался мне, что ненавидит причесанную историю литературы, этакую педантичную подгонку по ранжиру талантов и произведений, превращающую учебник в сверкающую чистотой литературную аптеку. Ученик — это человек, говорит мой любимец, поэтому он должен не механически зазубривать материал, а рассуждать, иметь личное мнение, свою эстетическую позицию. Сам Фред — образец такого ученика, и это ставит его намного выше всех остальных. Его домашние и классные работы — это готовые литературные трактаты, в которых излагаются собственные воззрения и обоснованные возражения признанным авторитетам. Однажды подобная его работа попала в руки школьного инспектора Граббе, который пришел в ужас от мыслей, изложенных в ней, и потребовал самого строгого наказания «для умного, но невоздержанного ученика». Помнится, это был домашний разбор драм Августа фон Коцебу. В нем Фред решительно выступил против пошлой морали Николаи, Штернберга и Клаудиуса, пытав-

шихся примирить разум с религией. Драматургию Коцебу он назвал сентиментальной и реакционной — драматургией королевских указов и тайной полиции. Отвергая этого автора, пропитанного идеологией «Священного союза», Фридрих выражал восхищение совместным сочинением Гёте и Шиллера, которое явилось ударом по модному романтизму начала века; его домашнее сочинение содержало волнующие слова о революционном движении студентов того времени. Вместе с тем он спорил с Менцелем и Круммахером относительно их оценки Коцебу. Как видите, вместо школьного сочинения Фред написал целое литературно-критическое исследование, которое могло быть напечатано в самом солидном рейнском общественно-политическом журнале. А так как я дал этой работе отличную оценку, Граббе сделал мне строгое внушение и вписал неприятное замечание в мой послужной аттестат. Это не должно удивлять вас, ибо здесь, в Вуппертале, нам, учителям, запрещено иметь свое мнение.

В светлых глазах доктора Клаузена появилось выражение грусти. Мы видим, как сильно обескуражен учитель грубым вмешательством Граббе, и пытаемся успокоить его.

— Что вы, прошу вас, господа,— оживился Клаузен,— за своего Фреда я готов на все. Вопреки Граббе и ему подобным я делаю все возможное, чтобы разжечь в юноше любовь к литературе, привить способность мыслить самостоятельно. В моем ученике проступают могучие, неудержимые силы, и я хотел бы дать им верное направление, цель, крылья. Это желание воодушевляет, не позволяет

отступиться, заставляет мечтать, смело смотреть в будущее. Фридрих пытается писать стихи, и я ему всячески помогаю в этом. Правда, это еще не бог весть какие стихи, они слабы, наивны, рождены под сильным влиянием нашего Фрейлиграта, но и в них нередко сверкает яркий образ, глубокая мысль, что дает мне право увлекать их автора вперед, вселять в него уверенность. Каждая почка, каждый его стебелек должен развиваться свободно, чтобы вызреть. А я, как садовник, уничтожаю вокруг него сорняки и учу тянуться к солнцу. Не пророчествуя, как герр Юргенс, например, могу смело заявить, что, если Фред сохранит свою горячую любовь к литературе, завтрашней Германии будет кем гордиться...

— А что бы вы сказали, любезный доктор, об отношении Энгельса к другим школьным предметам: математике, физике, языкам?..

Старый учитель не спеша пододвинул большую оловянную пепельницу, выбил трубку, потом заговорил:

— Этот ваш вопрос несколько затрудняет меня, уважаемые друзья, ибо я не связан с этими предметами. Но с удовольствием могу отметить, что некоторые из моих коллег также весьма довольны Фридрихом и относятся к нему с чувством симпатии. Преподаватель математики не раз говорил мне, что мой любимец — способный математик, а учитель психологии Верне просто поражен проявляемым им интересом к философии. Но наибольшие успехи, разумеется после литературы, молодой Энгельс пожинает в изучении иностранных языков. Здесь у него воистину удивительные способности. Советую

вам поговорить с его недавним учителем французского языка доктором Филиппом Шифлином, он вам лучше расскажет об этом. Что же касается меня, то могу сказать еще о познаниях Фреда в области древней истории. Мы часто беседуем с ним на подобные темы: ведь наука о прошлом человечества — моя вторая специальность. На мой взгляд, юноша эрудирован здесь не меньше меня. Увлекательно и без повторений он может часами рассказывать о каком-нибудь событии из эпохи Перикла или Марка Аврелия. Только несколько дней назад здесь, в этой беседке, он блестяще развивал свои взгляды на историю Пунических войн, которые, право же, с успехом могли быть изложены с высокой кафедры Кёльнского университета. У меня случайно осталась его тетрадь по истории. Если господа желают, я могу показать ее, это весьма интересно...

Через несколько минут тетрадь Фреда, бережно раскрытая тонкими, дрожащими руками доктора Клаузена, лежала перед нами. Глубоко взволнованные, мы перелистываем ее страницы, исписанные хорошо знакомым, нервным почерком Энгельса.

С первых же строк нам стало ясно, что в ней собраны конспективные записи Фреда о всех значительных событиях «от сотворения мира до Пелопоннесской войны». В одних местах они более подробны, в других — беглы, но повсюду дополнены множеством превосходных иллюстраций, исполненных талантливой рукой юноши. Вся тетрадь испещрена чертежами, планами, схемами и рисунками, великолепно дополняющими текст, делающими его не только наглядным, но и привлекательным.

Здесь можно видеть зарисовки развалин Карфагена и Рима, виды Иерусалима, Дельф Фермопил, пирамид и сфинксов Египта, «Львиные ворота» в Микенах. Графически изображены походы Александра Македонского и Ганнибала, Цезаря и Аттилы. А на полях— наброски греческих и индийских колонн и оружия воинов Александра Македонского, эскизы портретов вавилонских воинов и изображений египетских богов. Все это говорит не только о гимназическом прилежании Энгельса, но и о его беспредельной любви к исторической науке, скрупулезном внимании к фактам. Каждый лист этой тетради свидетельствует о незаурядных исследовательских способностях ее владельца, его страстном и романтичном проникновении в суть предмета. Тут Фридрих не просто хороший ученик. Здесь мы видим в нем сразу и пытливого ученого, и увлеченного поэта, человека, наслаждающегося творческим поиском и, да простит читатель авторскую вольность, находящего удовольствие в отыскании золотых пылинок на босых ступнях Клио...

Доктор Клаузен пристально смотрит на нас.

— Да, в нем борются две силы: литература и история. Очень хотел бы знать, какая из них победит?

Мы не стали отвечать на вопрос славного учителя.

— Лично я хотел бы, чтобы верх одержала первая, но...

Доктор Клаузен, весьма довольный нашим интересом к Фреду, проводил нас до ворот. Он горячо пожал всем руки и еще раз напомнил:

— Непременно побывайте у господина Шифлина. Он вам также немало поведает о нашем любимце...

Учитель французского языка живет в центре Бармена, в новом солидном доме, не имеющем ничего общего с поэтичным домиком Клаузена. Здесь всегда многолюдно и шумно, так как рядом расположены самые большие в городе магазины и наиболее влиятельные торговые конторы. Мы медленно пробираемся сквозь поток пешеходов и экипажей, запрудивших улицу, и, усталые, поднимаемся по широкой лестнице. На двери ярко начищенная медная табличка: «Здесь живет месье Ф. Шифлин, доктор романской филологии, специалист по французской грамматике». Отряхиваем с одежды пыль и дергаем длинную цепочку звонка. За дверью раздается мелодичный перезвон колокольчика.

Второй старший учитель доктор Филипп Шифлин церемонно приглашает нас в кабинет. Перед нами предстал крупный пятидесятилетний мужчина, с пышными русыми бакенбардами и мопассановскими усами. Во рту его дымилась сигара, а на большой округлый живот свисал старый позолоченный монокль. Под голубыми глазами выделялись мягкие аристократические мешочки, а голос часто прерывался из-за приступов астмы. И все же облик доктора говорил о том самодовольстве, которое не отталкивало, а привлекало и располагало к общению. Пока мы усаживались в кожаных креслах, господин Шифлин извлек из письменного стола бутылку ста-

рой малаги, наполнил хрустальные бокалы и с добродушной, приветливой улыбкой сказал:

— Prosit, господа! Добро пожаловать...

Учитель закрыл глаза и залпом выпил свой бокал, несколько раз громко причмокнул толстыми губами и сел напротив, готовый к разговору. Узнав, зачем нас прислал к нему старый Клаузен, он сразу же перешел к теме, интересовавшей нас.

— Слышал я, что бывают чудо-дети, вундеркинды. Думаю, что одним из них был Моцарт. Несколько лет назад, будучи в Париже, видел десятилетнего ребенка, который безошибочно решал теорему Пифагора. Не преувеличивая, господа, могу сказать, что Энгельс-младший один из таких детей... Подумайте, ему только семнадцать лет, а он уже практически владеет пятнадцатью иностранными языками. Свободно говорит и пишет по-латыни, на древнегреческом, испанском, французском, английском, голландском, итальянском. В то же время юноша хорошо справляется со скандинавскими языками, с португальским и, если хотите, с польским, который сейчас изучает. Однажды в его тетради для домашних заданий по французскому я нашел несколько листов, исписанных на неизвестном мне языке. Когда я спросил, что за фантасмагория, он, смеясь, объяснил, что это какое-то ирландское наречие, если не ошибаюсь, североирландское, на котором говорят сейчас пятьсот пятьдесят человек на всей земле. «Но на что сдалось вам это наречие, молодой человек?» — удивленно спросил я его. «Как на что? — лукаво ответил Фред. — Представьте, что я плыву на пароходе, случилось кораблекрушение и

волны выбросили меня на ирландский берег. Как же я попрошу кусок хлеба у добрых рыбаков, говорящих только на этом дьявольски трудном наречии?»

Месье Шифлин засмеялся своим сердечным, веселым и заразительным смехом.

— Да, да, господа, именно так ответил мне этот юноша, который знает языков больше, чем я. Уверен, что он самый что ни на есть полиглот, феномен. По секрету скажу, что иногда побаиваюсь его. Подымаясь на кафедру в качестве второго старшего учителя, я знаю, что он внимательно следит за каждым моим словом и, как сам мне признавался, за правильностью моих объяснений. Иногда даже пытался спорить со мной перед всем классом, что, конечно, не очень педагогично, но весьма интересно с точки зрения филологии. Во время одного из таких споров я, например, лучше уяснил произношение некоторых слов, перекочевавших из немецкого во французский через тоннель эльзасского наречия. Вот почему я всегда с удовольствием вызываю его к доске. Он не мямлит под нос, словно последний вуппертальский осел, а говорит свободно, со знанием дела, а главное — интересно. Опять же по секрету признаюсь вам, что всегда на него полагаюсь, когда в класс пожалует какой-нибудь незваный гость из барменской общины или педант-инспектор из Дюссельдорфа. Тогда мы с Фредом начинаем веселый диалог по-французски, что заставляет пожаловавшее «высокое лицо» напрягать до предела мозг и делать вид, что «во всем разбирается». Однажды Энгельс так увлекся, что выпалил по-старофранцузски: «Очень мне не нравится вон то лицо в углу». А в углу, пред-

ставьте себе, сидел за партой сам господин Граббе, инспектор, так глубоко обидевший нашего доброго Клаузена...

Доктор Шифлин повторно наполнил бокалы, снова любезно проговорил «Prosit, господа!» и несколько раз почмокал губами.

— A propos, эта малага выписана прямо из Испании. К сожалению, у наших рейнских виноделов не получается такой чудесный южный напиток... Вспоминается, как однажды Фред принес мне свой перевод со староиспанского какой-то поэтичной андалузской песни-легенды. В ней говорилось, что смерть не коснется того, кто выпьет бокал малаги — живой крови земли и солнца. Перевод был сделан с большим вкусом и хорошим чувством поэзии. Я был так восхищен, что тут же послал издателю Брокгаузу заказ на сборник испанских романсов и, получив его, преподнес Фреду с дарственной надписью. Подарку Фридрих очень обрадовался, но после с огорчением мне говорил, что переводы неудачны. А он, надо отметить, умеет отличать фарфор от глины и, между прочим, никогда ничто не принимает на веру, все подвергает самой тщательной проверке. Только на одной странице его хрестоматии французского языка я как-то увидел двенадцать вопросительных знаков. Я, конечно, тут же спросил, что это значит, и услышал в ответ: «Сомневаюсь во всем, что мне не ясно». Иногда этот девиз доставлял ему много хлопот, но он никогда не изменял ему. «Лучше,— говорил он,— искать истину всю ночь, чем сомневаться в ней всю жизнь». Согласитесь, господа, что подобный афоризм достоин самого Сократа или Галилея, но не этого

буйного вуппертальского молодца, который толком еще и не знает, чему посвятить свою жизнь...

Хозяин по-настоящему гостеприимен, и мы выпиваем по третьему бокалу малаги. К чести испанских погребов, вино поистине превосходно. Филипп Шифлин, явно очарованный редкими способностями Фреда в изучении языков, продолжал:

— Больше всего меня радует то, что Фридрих изучает французский по моей испытанной методе — по классикам. Нет лучших учителей этого совершенного языка, чем его создатели: Рабле и Лафонтен, Буало и Корнель, Расин и Вольтер, Лабрюйер и Мольер. Они воспитывают у человека вкус к изящной фразе и благородное остроумие, столь присущие не только французской литературе XVII—XVIII веков, но и французскому характеру вообще. Их произведения — подлинная школа для шлифовки мысли и стиля, обогащения разговорного словаря. Прогуливаясь как-то по берегу Вуппера, Энгельс признался мне, что Вольтер научил его понимать французский сарказм, а Лабрюйер — тому безграничному, чисто французскому острословию, которые крапят язык, словно черный перец, и делают его необыкновенно пикантным. И я просто счастлив, что Фред по достоинству оценил мое «Руководство» по французской грамматике и добросовестно пользуется собранным там материалом. Буду рад, если это руководство еще больше повысит интерес юноши к языкам и окончательно направит его к богатствам филологической науки. Случись это, можно будет спокойно умереть, с сознанием, что дал немецкому языковедению подлинно великий ум...

Наступил час обеда, и мы пожимаем руку увлекшемуся доктору. Он огорчен расставанием, дружески хлопает нас по плечу и советует заглянуть в постоялый двор «Три шляпы» и заказать там тушеного зайца и вино, подобное его малаге.

— Попросите подать зайца с томатным пюре и в вишневом соку. Прикажите кельнеру сделать это по рецепту Шифлина. Останетесь довольны. До свидания!

— Всего наилучшего, будьте здоровы, месье Шифлин!

— Мерси, господа!

С теплым, светлым чувством выходим на шумную барменскую улицу. Мы благодарны доктору Клаузену и доктору Шифлину за их сердечное гостеприимство и единодушную восторженную оценку, данную ученику Энгельсу. Они безусловно первыми «открыли» юношу, его только что проявившиеся гениальные способности. Теперь нам понятно, почему Фред всегда будет с глубочайшим уважением вспоминать о них, почему он с благодарностью пишет «единственному человеку, умеющему пробуждать у молодежи любовь к поэзии» (Клаузену), и «автору одного из самых лучших учебников французского языка» (Шифлину). Понятно, почему много лет спустя титан Энгельс признается, как многим обязан он этим вуппертальским педагогам, этим «прекрасным и мудрым людям»...

В разговорах с обоими вуппертальскими учителями мы обратили внимание на две короткие, но характерные фразы, выражающие фактически одну и ту же мысль,— на слова, сказанные доктором Кла-

узеном: «У сына Энгельса своя голова на плечах» — и фразу доктора Шифлина: «Он ничего не принимает на веру...» В этих двух фразах заключена вся сущность ученика Фреда, его бурного и вечно ищущего духа. В них скрыта сложная загадка конфликта между юношей и вуппертальским училищем, между силой, рожденной, чтобы творить, и силой, существующей, чтобы подавлять. Или, прибегая к афористическому образу Бенджамина Франклина: между кровью крыла и железом решетки. Да, эти две фразы выражают все своеобразие молодого Энгельса, которое выделяет его среди массы учеников и оставляет один на один с суровой «альма-матер», с ее каменными стенами и дубовыми головами учителей, со всем адом пиетистского просветительства.

Для большинства вуппертальских педагогов ученик Фридрих Энгельс представляется непонятным явлением. Холодные и ограниченные головы не в состоянии постичь внутреннего богатства юноши, его непокорности и интеллектуальной независимости. Они смущены тем обстоятельством, что их питомец не испытывает почтительного страха ни перед розгами, ни перед угрозой плохой отметки в классном журнале, что он относится ко всему этому спокойно, насмешливо и, можно сказать, несколько надменно. Даже провинившись в чем-нибудь, он не «кладет головы на плаху» (как это принято), а сухо и холодно, с нескрываемой ноткой внутреннего достоинства просит извинить его. Конечно же все это могло быть простительным для юного сына фабриканта, если бы за этим не проступал открытый бунт против

официальной педагогики прусского государства. Учителя просто возмущены снисходительным отношением Фреда к учебникам и пособиям, старым и достойным книгам, которые открыли глаза тысячам благочестивых германцев. Их охватывает паника, когда юноша во время урока начинает критиковать какой-нибудь учебник и утверждать, что то или иное определение является неполным, неточным, а то еще хуже — неправильным. Обычно они не разрешают ему говорить, но иногда вынуждены слушать, и тогда его отличные знания бьют по ним словно плети, заставляют их краснеть, заикаться, звать на помощь бога и директора гимназии доктора Ханчке. Уже не раз первый старший учитель Иоганн Якоб Эвих или второй старший учитель доктор Эйхов просили педагогический совет заняться этим непокорным «одиннадцатым номером», который осмеливается публично высказывать свои замечания, критиковать учебник общей истории или грамматику древнегреческого языка. «Под угрозой наш высокий авторитет»,— шумят они и требуют от дирекции гимназии принятия серьезных мер для обуздания этого «энциклопедиста и вольтерьянца». Но самое неприятное — экзаменовать Фреда, когда приходится давать оценку его знаниям. О, этого учителя ждут словно сражения, большого диспута, тяжелой встречи по «вольной борьбе», где потребуется вся их изобретательность и хитрость. Они сами предварительно готовятся по тому предмету, по которому будут экзаменовать юношу, читают соответствующую литературу, разрабатывают целую систему ловушек и капканов, неожиданных засад и бурных атак. Хотят раз

и навсегда показать этому господинчику, что учитель есть учитель и что нет более систематизированного и точного свода знаний, чем тот, который содержится в учебнике. К большому сожалению господ педагогов, каждый раз весь этот заранее отрепетированный спектакль летит ко всем чертям. Ответы Фреда бывают обычно настолько точными и обоснованными, настолько исчерпывающими, что категорически исключают какую бы то ни было возможность дать себя запутать, сбить с толку. Учитель испытывает смущение и растерянность, так как понимает, что не в состоянии одержать верх. И тогда начинается некая дьявольская игра, в которой меняются ролями кошка и мышка, игра, которая вызывает у господина учителя неприятное чувство, будто он стоит голым перед классом, полным про себя хохочущих учеников. Поверженному учителю только и остается отметить, что господин Энгельс отвечает слишком распространенно или что господин Энгельс допускает весьма «свободные отклонения» от учебника. А Фред будто только и ждал такого замечания. Разведя руками, он без обиняков заявляет, что в учебнике также содержатся очень «свободные отклонения» от классиков. А он, как слышал господин учитель, строго придерживался их великих положений, которые несомненно заслуживают большего доверия, чем соответствующие определения учебника. Удар пришелся точно, и над кафедрой взвился белый флаг. «М-да, в чем-то вы правы, но...» Тем не менее «номер одиннадцатый» не может получить отличной отметки, потому что королевская гимназия не место для пусть интересных, но отвлеченных суждений. Здесь ведь

не клуб и не кафе, а храм официальных германских знаний, угодных господу богу и его величеству королю. Это последнее, что могла сказать, или, точнее, сделать кафедра, чтобы более достойно представить свою капитуляцию перед взволнованными учениками. Пусть никто не забывает, что учитель есть учитель...

Эта грубость и фальшь в отношении к Фреду со стороны большинства вуппертальских учителей не сказывается серьезно на самочувствии нашего героя. Они только немного огорчают юношу и делают более осторожным там, где проявляется школьная власть. Это даже в известной мере шло ему на пользу, укрепляло его силы и с ранних лет предупреждало о больших житейских трудностях, встающих на пути разума. В целом же Фридрих воспринимал все это с учтивым безразличием, с гордой и артистичной небрежностью. Избрав своими идеалами знания и красоту, он полностью освобождается от суеты и тщеславия вуппертальской школы и с великим наслаждением отдается духовному самосовершенствованию. Подобно своему кумиру Вольтеру, он не стремился быть лучшим учеником, но старался стать умным и высокообразованным человеком. При первых же стычках на уроках Фред понял, что отметка никогда не является критерием умственного багажа ученика, что мнение господина учителя — самое субъективное и непостоянное явление на земле. Вот почему он не гонялся за отличной оценкой, но приучал свой мозг к постоянному труду, к напряженной интеллектуальной работе. Часто заставая его над книгой, однокашник Фридриха Плюмахер, круглый отличник,

однажды удивленно воскликнул: «Ты работаешь, как каторжник!» «Нет, мой милый,— отвечал Энгельс,— я учусь!» Да, Фред учился — учился постоянно, энергично, неутомимо. Но не по сухим страницам учебников, а по подлинным источникам человеческого знания, по оригинальным произведениям мыслителей. Психологию он изучал по «Этике» Аристотеля, географию — по дневникам Джеймса Кука, латынь — по речам Цицерона, литературу — по «Эстетике» Гегеля, ботанику — по «Естественной истории» Бюффона, физику — по «Механике» Ньютона, древнюю историю — по сочинениям Плутарха. Это серьезное, глубокое проникновение в сокровенные тайны наук совсем не требовало и не нуждалось в педантичной оценке некоего королевского учителя. Какое значение имеет школьная отметка, если ум захвачен работой, когда он ушел далеко вперед от учебника, недоноска, сочиненного под мрачным балдахином пиетизма и королевской цензуры? Разве с казенной кафедры в состоянии понять это титаническое напряжение молодых сил, все порывы души, желание постичь до конца вещи и явления, осознать их и только после этого поверить в них, дать право на жизнь в своей еще юной, но умной голове? Разве возвышавшийся на кафедре тупица способен понять всю сложность познания истины, слияния с ней? Поэтому Фред не сердится и ничего не ждет от него. Юноше все равно, что напишет такой учитель в классном журнале, ибо он больше доверяется собственному критерию. Вот почему молодой Энгельс с безразличием смотрит на свидетельство об окончании гимназии, выданное 25 сентября 1837 года, в ко-

тором нет ни одного «похвального слова», а знания его оценены в самых шаблонных и скупых выражениях, достойных вуппертальской кафедры. Какая-то равнодушная и безразличная рука написала в нем: «Хорошо переводит»; «Хорошо знает грамматику»; «Вполне прочные знания»; «В общем хорошие знания».

Фред грустно усмехается. Он знает, что за каждой скупердяйской отметкой стоит обидчивый учитель с его задетым честолюбием в споре на уроке. Только доктор Клаузен остался до конца верным истине и мужественно отметил: «Проявляет похвальный интерес к истории немецкой литературы и к чтению немецких классиков».

Но самое неожиданное в этом свидетельстве не скучные оценки по различным предметам, а общая оценка поведения Фреда. От души смеясь, юноша перечитывает ее несколько раз. Она гласит: «Отличался хорошим поведением. Обращал внимание учителей своей скромностью, искренностью и сердечностью».

Какой курьез! Фридрих смеется, так как знает, что эти теплые слова сказаны не от чистого сердца, а в силу бюрократической необходимости. Не сердце, а официальное предписание поставило такую оценку. Точно такие же слова написаны и в свидетельстве благочестивого Плюмахера. Все выпускники эльберфельдской гимназии «скромны, искренни, сердечны». Точнее — должны быть такими. Боже мой, какое ангельское заведение эта пиетическая казарма!

Свидетельство от 1837 года — последний документ в жизни Фридриха Энгельса. К сожалению, Фред

не получил возможности блеснуть перед «школьными отцами» Вупперталя другим, соответствующим его способностям свидетельством. Родитель решил, что Фридрих должен стать торговцем, а не ученым или каким-то там поэтом, и послал его в контору...

Ученическая сумка заброшена на чердак. Но мечты остались. Остались и книги в маленькой комнате Фреда.

Прощай, строгое вуппертальское училище!

Здравствуй, жизнь, учение и труд!

Общество

Школа уже позади, и предо мною — мир. Теперь я должен выйти и показать свои силы, все свое самое сокровенное.

Роберт Шуман

У ОТКРЫТОГО окошка своей комнаты сидит Фред. Он с интересом читает старую, пожелтевшую книгу в красивом кожаном переплете. Стоит чудесный летний день, наполненный веселыми голосами и птичьим щебетанием. Во дворах играет детвора, в небе летают голуби, разноцветные бумажные змеи, и откуда-то издалека, с лесистых холмов, грядой раскинувшихся вдоль Вуппера, доносится эхо охотничьих рожков. Уже несколько раз Мария влетала в комнату и спрашивала о чем-то брата, но Фред отмахивается и просит оставить его в покое, так как он очень занят более важным и интересным делом. Мария притворяется обиженной, хмурится и говорит, что ее высокоуважаемый брат не умеет ценить своих добрых друзей и ничего не смыслит в прелестях хорошего дня и жаркого солнца.

Старая книга неожиданно захватила, и Фридрих не в силах оторваться, не дочитав ее до конца. Ее сухое заглавие «Материалы к словарю немецкого языка» вначале показалось ему совсем неинтересным и даже скучным. Имя автора — Готлиб Вильгельм Рабинер — также ничего не говорило ни уму, ни сердцу. Но уже после первых десяти страниц юноша почувствовал, что напал на весьма оригинальную и ценную книгу — сатирический сборник первой половины XVIII века, который ничем не уступает современным представлениям о «большой литературе». Книга незаметно увлекла Фреда, и сейчас ничто не в состоянии оторвать его от нее. Между двумя кожаными обложками он обнаружил острый и смелый ум, дававший самые злые и предельно точные харак-

теристики немецкому духовенству и немецким обывателям. Одно из мест особенно пришлось по душе Фридриху, и он перечитывает его несколько раз, стараясь запомнить. Это — объяснение слова «разум», данное с изяществом и уничтожающим сарказмом.

«Я пишу не для педантов,— читает восхищенный Фред,— а для большого света, а там — богатство заменяет разум.

Человек без разума не может быть никем другим, кроме как бедняком. Он может быть честным, образованным, остроумным — одним словом, он может быть самым хорошим и самым полезным человеком в городе, но все это не имеет никакого значения, так как у него не хватает рассудка, потому что отсутствуют деньги...

Я мог бы, например, по существующему курсу предложить следующий тариф разума моих соотечественников: тысяча талеров — не лишен рассудка; шесть тысяч — обладает достаточным рассудком; двенадцать тысяч талеров — имеет тонкий ум; тридцать тысяч — обладает большим умом; пятьдесят тысяч талеров — имеет проницательный ум; сто тысяч — имеет английский ум, и таким образом с каждой новой тысячей талеров все выше и выше...»

Оставив раскрытую книгу на коленях, Фред задумчиво смотрел в окошко. Когда написаны эти насмешливые, но страшные слова? Ровно сто лет назад. А кем был этот тонкий, но беспощадный сатирик? Чиновником налогового ведомства в Саксонии? Юноша посмотрел на небо и зажмурился от его блеска. Солнце в самом деле ослепительно. Неужели

возможно столь буквальное повторение всего этого? Кажется, эти слова сказаны не столетие назад, а вчера или сегодня мимоходом, за рюмкой вина в веселой компании. Будто этот господин Рабинер жил не в Саксонии, а здесь, в Вуппертале, в одном из его хмурых торговых домов. Фред бросил книгу на стол и начал быстро ходить по комнате. Солнце жгло немилосердно. Даже в тени было душно, тяжело дышалось...

Ум определяется богатством. Ум — это талеры. Ум зависит от мошны. Боже мой, какое ужасное сходство во взглядах саксонцев 1737-го и вуппертальцев 1837 года! Юноша не находит себе места. Только два дня назад он слышал, как отец говорил матери: «Все в деньгах, милая Элиза, в них и грехопадение, и спасение!»

Значит, люди издавна уверовали в эту глупость. Фред схватил книгу и снова прочитал слова: «Тысяча талеров — не лишен рассудка; шесть тысяч — обладает достаточным рассудком...» Если предположить на мгновение, что это верно, тогда у восьмидесяти процентов жителей Вупперталя вообще отсутствует рассудок. И не только Вупперталя, а всей Германии. У всех рабочих, чиновников, учителей, поэтов, музыкантов, ремесленников. Да и у пасторов тоже. Ах, как нестерпима жара! Ну и весельчак же этот господин Рабинер!

...Несколько дней спустя Фред вынужден был присутствовать при серьезном деловом разговоре между отцом и одним из братьев Эрменов, совладельцем фирмы. Нужно было сбыть полторы тонны бракованной пряжи. Старый Энгельс предлагал вновь

переработать ее, англичанин[1] — поставить армии за приличные комиссионные.

— Но подумайте о марке фирмы, мистер Эрмен...

— А вы, дорогой Энгельс,— о деньгах, которые мы можем заработать...

Разговор затягивается. Немец не любит грязных сделок, а Эрмен — чистых убытков.

— Мистер, только глупец может купить такую плохую пряжу,— сказал наконец Энгельс.

— Не всякий глупец настолько глуп, чтобы быть врагом себе, дорогой,— усмехнулся в ответ Эрмен.— Небольшое письмецо главному императорскому интенданту в Берлин вполне убедит вас в этом...

— Но что можно написать в этом письме?— спросил Энгельс.

— Всего одну фразу, господин: «В знак уважения к вашему превосходительству фирма «Эрмен и Энгельс» перечислит на ваше имя в Немецкий национальный банк двадцать процентов от полученной суммы...»

— Но это же явный подкуп!— недоумевал немец.

Англичанин развел руками:

— Слишком преувеличиваете, коллега. Я бы назвал это просто «скромным подарком».

Фред с отвращением слушал вкрадчивый голос Эрмена. Насколько беззастенчив в своих намерениях этот господин! И тут юноша вспомнил о «тарифе» Готлиба Рабинера. Как был бы им классифицирован

[1] Эрмены не были прирожденными англичанами, в их жилах текла и немецкая кровь.— *Прим. авт.*

ум этого манчестерского осла? И Фридрих неожиданно вступает в разговор.

— Простите, мистер,— любезно обратился Фред,— но не считаете ли вы, что деньги — это главное в жизни человека?

— Разумеется, мой юный друг! Без денег нечего делать даже в церкви...

— А не считаете ли, что сила человеческого ума зависит от количества денег? — вновь спросил Фред.

Не догадываясь, куда он клонит, англичанин самоуверенно ответил:

— В большей степени, чем некоторые думают. Деньги правят разумом, и поэтому я рассматриваю их как материализованный ум. Не случайно общество уважает больше тех, кто имеет больше денег. Прежде чем попасть в карман, деньги созревают в голове...

Фред лукаво улыбнулся:

— Тогда позвольте спросить вас: сколько талеров на вашем счету в банке?

Мистер Эрмен на мгновение задумался.

— Вопрос ваш не совсем тактичен, молодой человек, но, так как мы свои, я вам отвечу на него... Семьдесят пять тысяч талеров!

Сын фабриканта в упор посмотрел на Эрмена.

— Сожалею, мистер, но вы не обладаете английским умом!

— Как? — вспыхнул англичанин.— Что вы хотите этим сказать, дорогой?

Фред невозмутимо продолжал:

— Недостает ровно двадцати пяти тысяч талеров!

Эрмен вскочил словно ужаленный. Энгельс-стар-

ший строго посмотрел на сына. Юноша чуть склонил голову и совершенно серьезным тоном говорит:

— Папа, советую вам не подписывать письма, предлагаемого мистером Эрменом...

Накануне отец «конфисковал» старую книгу Рабинера. Фридрих отдавал ее с глазами, полными слез.

— На сей раз вы опоздали, отец,— с вызовом проговорил он тогда.— Мысли саксонца уже в моей голове...

Мысли саксонца!

Вот так начинает свою новую карьеру молодой господин Энгельс, карьеру торгового служащего фирмы «Эрмен и Энгельс»...

* * *

Зима 1838 года застала Фреда в комнате одной солидной барменской торговой конторы. Наш герой работал за третьим столом, позади большой изразцовой печки, в дальнем углу пыльной комнаты. Напротив него, у окна,— стол старой конторской крысы Бауэра, а правее — молодого и старательного Гутмайера. За спиной Фреда висит большая географическая карта Рейнской долины, а за Гутмайером — вид Манчестера. На печке шумит старинный железный чайник, а на столе Бауэра мурлычет четвертый обитатель комнаты — кот Фридл. Стоит январь, валит густой снег, поэтому в конторе тихо, сонно и мрачновато. Только перо Гутмайера как-то неприятно поскрипывает и заставляет кота время от времени открывать серый глаз. Бауэр, как и его коллега справа, сидит в удалении от светлого проема

окна, и в его обязанности входит сообщать обо всем, что происходит на улице. Вскинув очки высоко на лоб, старый архивариус не упускает из виду ничего и в деталях информирует сослуживцев о жизни на шумной барменской авеню. Обычно его «сводки» сопровождаются легкими язвительными замечаниями, что делает их занимательными и веселыми. «Внимание, господа,— интригующе начинает Бауэр,— по противоположной стороне улицы идет блаженный и божественный пастор Коол. Он укутан шарфом до самого носа, а уши забиты ватой. По всему видно, что его милость старается сберечь голос и слух, без которых не способен ни проклинать, ни подслушивать. Навстречу ему семенит наш неутомимый конкурент мистер Эрих. У него вся спина в снегу: видимо, он где-то упал. Этот господин словно резиновый мячик: падая, он тут же вскакивает... А вот и мадам Соварж. Остановилась у магазина Крауса. В мехах, разукрашенная, с какими-то свертками в руках. Ой, ой, господин Вюльфинг, тот самый поэт, что женился уже в третий раз, целует руку Соварж. Ах, как она смеется! Но погодите, на нашей стороне показался господин Биненбауэр, нотариус. Вот он вошел в контору Найдорфа. Наверняка старый грешник хочет продиктовать свое завещание. Бьюсь об заклад, что он оставит все публичному дому в Золингене. Ведь это он оттуда привел свою молодую дородную фрау... Ну и ну, а это кто?..» Нередко «информационные сводки» Бауэра прерывает медный голос входного звонка, извещающего о том, что в контору жалует клиент. При этом сигнале тревоги глаза архивариуса и его соседей

впиваются в бумаги. В комнате слышно лишь посвистывание чайника да мурлыканье Фридла. А ужасное поскрипывание пера конечно же создает впечатление, будто Гутмайер еле управляется с работой...

Уже четыре месяца жизнь Фреда идет по новому, точно заведенному распорядку. Контора оказывается более строгим заведением, чем школа, и юноша изменил многим своим прежним привычкам. Теперь все его дни в точности похожи один на другой, с их банальными прогулками от дома до конторы и от конторы до дома, с одними и теми же нудными «Répéte» одних и тех же обязанностей, одних и тех же дел. Он встает в шесть. Завтракает в семь. Приходит в контору в восемь. Работает до двенадцати. Обедает в час. С двух до шести опять в конторе. Порог своего дома переступает в семь. Ужинает в восемь. И разве только в девять может располагать собой — почитать книгу или навестить приятеля. Но этот страшный «перпетуум-мобиле» двигает не только его так называемым «полезным временем». Он, по сути в основе и самой работы начинающего чиновника, где ничего не случается да и ничего не может случиться, где каждая конторская книга и каждая операция десятки лет служат одним и тем же целям. Обычно он начинает заниматься с зеленой книгой, затем переходит к синей, красной, желтой. Как говорит Бауэр, вначале танцует с почтой входящей, затем исходящей, а уже после этого с данными о движении цен, калькуляцией заказов, неоформленными договорами, начислением процентов и тому подобное. Здесь порядок важнее всего, и поэтому никто не имеет права изменить его или прене-

бречь им, усомниться в его справедливости. Здесь не театр и не литературный клуб и человек не должен страдать от однообразия и монотонности, а обязан просто работать — гнуть спину над столом и работать — терпеливо, молча, аккуратно. В этом отношении Гутмайер просто само совершенство. Однако страшное «Répéte» преследует Фреда, к сожалению, даже на улице. Будучи учеником, он ходил по любым улицам, держался свободно и независимо, свистел так оглушительно или с такой силой ударял носком ботинка по консервной банке, что поднимал весь Вупперталь. Тогда он был одним из многих проказников, одним из сорванцов, которые как две капли воды походят друг на друга и которых никто не воспринимает всерьез. Теперь же он занимает совсем иное положение. Фридрих — чиновник, то есть солидный человек, и поэтому все «солидные» люди самым внимательным образом следят за его манерами и поведением, за тем, как он идет по улице. Теперь ежедневный маршрут юноши строго определен, и всякий раз он пересекает одни и те же перекрестки, идет по одним и тем же тротуарам. Отец давно придерживается этого маршрута и считает, что, повторяя его, сын будет замечен людьми. «Пусть всякий видит, мой мальчик,— говорит он,— что ты идешь по стопам своего отца». И Фред действительно следует по этим тяжким стопам, всегда выбирая правый тротуар — «тротуар своего отца», которым ходят все самые значительные личности округа. Каждое утро и каждый вечер он встречает одних и тех же людей, которым должен улыбаться и любезно говорить «Доброе утро» или «Добрый

вечер». Утром первым встречается доктор Мюллер (с острой бородкой!), вторым — советник Штраус (заурядненший слизняк!), третьим — банковский агент Рихтер (неудержимый хвастун!), четвертым — торговец Петтерссон (обладатель прямо-таки гигантского носа!), а после них — пастор Зандер, учитель фехтования Мозер, владелец страховой конторы Кюн, гувернантка Фридманов и, наконец, полицейский Аб, который стоит у входа в контору и доверительно сообщает: «Ничего не замечено, господин Энгельс!» Вечером порядок обратный — первым идет Аб, а последним — Мюллер. И так каждый день, без каких-либо изменений, точь-в-точь как на сцене. Все это однообразие, скудное чередование людей и событий угнетает молодую душу Фреда и заставляет его жить со стиснутыми зубами. Садясь за письменный стол в конторе, юноша наперед знает, что услышит и что увидит. Бауэр скажет: «Вчера к Зонборну наведались волки». Гутмайер ответит: «Сегодня и у нас будет один из них». И «волк» приходит точно в девять. Это господин Траубе, владелец ткацкой фабрики, который недоволен последней партией пряжи. К десяти в контору заходит отец. Он обычно берет на руки кота и спрашивает ласково: «Ну, Фридл, как идут дела фирмы, а?» За Фридла ответит старый Бауэр, который говорит фабриканту, что дела давно не шли так хорошо, как теперь. Со своей стороны Гутмайер отметит, что работать в такой солидной, с хорошей репутацией фирме, где чувствуется сильная рука господина, подлинное удовольствие. Отец бросит взгляд на сына, и Фред любезно, но сдержанно кивнет головой. Затем Энгельс-старший от-

даст необходимые распоряжения и скажет, что отправляется на фабрику Траубе, чтобы разобраться «с этим сущим разбойником». Все стоя проводят его, после чего Бауэр повернется к окну и начнет свой «информационный бюллетень». Уже четыре месяца Фридрих участвует в этой однообразной и банальной игре, с кажущимся безразличием исполняя роль «солидного господина». Иногда такая жизнь настолько осточертевает ему, что он не выдерживает, вскакивает из-за стола, с ужасом смотрит на обоих своих коллег и громко, с оттенком досады и отчаяния спрашивает: «Как вы живете, господа, неужели не задыхаетесь в этой комнате?» Бауэр и Гутмайер с удивлением смотрят на него и искренне, вполне искренне возражают: «Но здесь воздуха достаточно и дышится отлично, господин Энгельс...» Фред устало машет рукой. Что взять с этих плутоватых, но скучнейших людей!

Порой молодой чиновник с грустью вспоминает прошлые школьные дни и мысленно сравнивает контору с классом. Как не схожи и противоположны эти два помещения, в которых сталкиваются социальные и духовные конфликты Вупперталя. Если там, в классе, страсти проявляются открыто и мысли высказываются вслух, то здесь, в торговой конторе, все делается с осторожностью, обдуманно и строго. Если там каждый спор — это, по сути, сражение, бурное раскрытие знаний и характеров, то здесь — любезное воркование, учтивый обмен мнениями, расшаркивание друг перед другом. Если даже разговор заходит о сделках и торговле, класс перегораживают невидимые баррикады, над которыми развеваются

знамена, он сотрясается от бушующего гнева или остроумия. Здесь же, в конторе, с равнодушием говорят даже о литературе и искусстве, никогда не повышают голоса, не отваживаются на рискованные выражения, не произносят запальчивых слов. В этом мрачном помещении, заполненном шкафами и конторскими столами с толстыми книгами и пыльными папками, не принято открыто проявлять свои чувства, давать простор мыслям и мечтам. Среди этих четырех серых стен полностью господствует расчет — точный и хитрый торговый расчет, приносящий деньги и заставляющий человека довольно прищелкивать пальцами. Где-то могут создаваться книги, вестись жаркие споры, звонить колокола, падать головы. Все это совершенно не волнует контору, если дела ее идут хорошо. Она абсолютно безразлична ко всему, если конторские книги рапортуют, что товар продан и он требуется в еще большем количестве. Пусть где-то стреляют пушки, проносятся вихри перемен, важно, чтобы в ней было тепло и спокойно, скрипело перо Гутмайера, слышалось мурлыканье Фридла. Пряжа фирмы «Эрмен и Энгельс» идет нарасхват, и это главное. Фред поражен ледяным безразличием и обнаженным эгоизмом, господствующими в конторе. Попав в нее прямо с «площади» классной комнаты, он чувствует себя бесконечно одиноким и чужим, непригодным к здешнему образу жизни. Он лишен возможности вести интересные беседы, делиться своими мыслями. Все четыре месяца он только и слышит деловые разговоры о ценах на пряжу, о новых прядильных машинах, о торговом судоходстве по Рейну, о строительстве железной до-

роги Дюссельдорф — Эльберфельд, о таможенном соглашении с Голландией и Бельгией, о попытках нарушить кодекс Наполеона. Подобные «вечные темы» и составляют разговорный репертуар конторы, вполне удовлетворяя все ее интересы. Все остальное несущественно, и никто здесь не дает себе труда еще о чем-то волноваться, думать, переживать. Коммерческий расчет никогда не страдал от угрызений совести, и конторе не пристало заниматься всякими там «мелочами». Такова новая атмосфера. в которую попал наш Фред и которой он предпочел бы даже училище. Не потому, что там происходит нечто значительное, историческое, но там больше озона и свежести, электричества и напряжения, чаще скрещиваются сверкающие шпаги. Там все же человек может поспорить с Фрейлигратом или Бёрном, может пострадать за какую-то свою привязанность. Вот почему, когда Бауэр, увидев в окно идущих в школу ребят, с полуиздевкой сообщил, что «господа ученики отправились на пастбище», Фридрих поднял голову от бумаг и резко возразил: «Трава все же предпочтительней песка, милый старче!»

Постепенно между Фредом и конторой установились сложные, не совсем любезные и не вполне корректные отношения. Верная своей строгой, ограниченной природе, контора делала все возможное, чтобы покорить сердце молодого человека, подчинить его своим железным законам. Она не терпит ничего стороннего, непосредственно не относящегося к делу и поэтому сразу же ополчилась против юноши, стремясь вытравить из него все то, что держит его на расстоянии, пытаясь заставить его

безропотно дышать ее застоявшимся воздухом. В первый же день ему назидательно сообщили, где оставлять калоши, куда вешать пальто, что в помещении не разрешается напевать песни, есть и читать книги. Затем ему предложили снять пиджак и надеть сатиновые нарукавники. После этих предварительных замечаний Фреду были изложены со всей бюрократической важностью десять (почти библейских) заповедей, которые он должен исполнять, находясь на своем рабочем месте. Опустив голову, Фридрих выслушал их:

Первая. Будь бережливым: экономь чернила, бумагу и перья!

Вторая. Будь старательным: не делай помарок и не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня!

Третья. Будь энергичным: не уступай коллегам в делах и рвении!

Четвертая. Будь вежливым: встречай клиента стоя, с улыбкой!

Пятая. Будь предупредительным: не заставляй клиента скучать, тревожиться или испытывать неудобства!

Шестая. Будь хитрым: не давай клиенту повода задавать неугодные тебе вопросы!

Седьмая. Будь скрытным: нигде и ни с кем не говори о делах фирмы!

Восьмая. Будь осмотрительным: не верь демагогам, которые говорят от имени конкурентов или от имени рабочих!

Девятая. Будь покорным: не задирай носа перед хозяином и перед богом!

Д е с я т а я. Будь скромным: не требуй больше того, что получаешь!

Поначалу Фред не придавал серьезного значения заповедям («Будь бережливым!», «Будь старательным!»), но со временем, когда требования («Будь хитрым!», «Будь покорным!», «Будь скромным!») становились все более и более настойчивыми, в душе его поднялась огромная обида, закипели чувства гнева и возмущения. Вот, оказывается, чего хочет от него эта пыльная, грязная комната, важнейшей принадлежностью которой являются старые, со стершимися косточками счеты. Вот каким он должен стать, чтобы удостоиться ее признания и похвалы. Юноша нахмурился и прямо посмотрел в глаза конторе: «Не хотите ли вы, досточтимая фрау, чтобы я изменил себе, тоже стал вашей вещью, вашим рабом, вашим безликим и покорным винтиком?» Контора лукаво усмехнулась: «Посмотрите на своих коллег, и вы поймете, чего я от вас хочу, молодой человек. Хочу, чтобы вы были усердным, как Гутмайер, и бессердечным, как Бауэр. Хочу, чтобы все, что не относится к делам фирмы, вы выбросили из головы и целиком отдались бы моей работе. Я не нуждаюсь в поэтах и мыслителях. Мне нужен чиновник. И вы должны стать им!» Фред в ужасе зажал уши и громко закричал: «Но это чудовищно! Я никогда на это не соглашусь!» Комната поглотила его крик и холодно ответила: «Тогда я объявляю вам войну. Берегитесь!»

И тут началась тихая, незримая, ожесточенная война. Гутмайер, например, говорит Бауэру: «Сынок шефа работает спустя рукава, входящая почта еще

не зарегистрирована...» Бауэр, в тон Гутмайеру, подхватывает: «Сынок хозяина работает нехотя, исходящая почта еще не отправлена...» И оба в один голос докладывают шефу: «Ваш милый сын, господин Энгельс, весьма старателен, но время от времени отвлекается на ненужные вещи...» Фабрикант тяжело вздыхает и, подойдя к столу Фреда, начинает рыться в ящиках. Под деловыми бумагами он обнаруживает раскрытые книги и тетради со стихами. На зеленом картоне наброски рисунков, карикатур, чертежи. На одной из накладных воспроизведен «тариф» Рабинера. Отец строго смотрит на сына, потом переводит взгляд на стоящую рядом доверху наполненную корзину для мусора. Фридрих вспомнил девятую заповедь: «Будь покорным: не задирай носа перед хозяином и перед богом!» Но война есть война. Он поднял голову и сказал отцу: «Разве контора потерпит убыток, если ее чиновники узнают, кто такой Иммерман, и прочтут его книги?» Гутмайер и Бауэр замерли словно статуи, слыша такую дерзость. Какое упрямство! Энгельс-старший взглянул на них краем глаза и резким тоном ответил: «Здесь ты не сын мой, а работник. Насколько мне известно, мои работники не интересуются никаким Иммерманом. Так ведь, Бауэр?» Старый плут вытянулся, словно гусар, и утвердительно кивнул головой. Фред понимает: контора собрала все свои силы и идет в наступление. И он начинает ежедневную, упорную, мужественную борьбу. Против каждого ее выпада или глупости юноша поднимает голос протеста и возмущения, обрушивает гнев своего сердца и разума. Против всякого ее, лишенного смысла и логики

бюрократического нововведения он организует и ведет бой, бешено сопротивляется. «Мадам Тю-тю»,— с издевкой называет он контору. «Вы чудовище!» — кричит ей в лицо и изображает на папках и деловых книгах в виде старой толстой ведьмы, держащей на коленях Гутмайера и Бауэра. Сочиняет эпиграммы, памфлеты, эпитафии. Иногда она хватает эти маленькие смешные листки, но, так как не знает ни древнегреческого, ни латыни, беспомощно крутит их в руках и попусту теряет драгоценное для нее время, пытаясь с помощью словаря вникнуть в их смысл.

Фред знает: ничто так глубоко и болезненно не задевает конторы, как его ироническое обращение к клиентам. И он не упускает случая подтрунить над этими толстыми, потными господами, когда им приходится скреплять договоры и чеки своими подписями, которые они выводят крупными ученическими каракулями. Если Бауэр и Гутмайер рассыпаются перед ними в любезностях (как повелевают четвертая и пятая заповеди), то Фридрих принимает их сдержанно и предлагает им один из тех на первый взгляд невинных разговоров, который заставляет толстосумов таращить глаза и напрягать память в поисках необходимых слов и фраз. Прежде чем показать им образцы новых товаров, он как бы ненароком поинтересуется их мнением о новых работах господина Бека или господина Мендельсона-Бартольди и тем, что они думают о растущей популярности «Молодой Германии» и последних достижениях немецкой Мельпомены. Одни из них (те, которые выглядят поумнее) отвечают уклончиво,

общими, ничего не значащими фразами, пересыпая их пустыми восклицаниями, вроде «О!», «Ах!», и спешат высказать сожаление, что не могут продолжить столь приятный разговор, так как их ждут совершенно неотложные дела. «Вы ведь знаете, господин Энгельс,— оправдываются они,— мы, торговцы, не принадлежим сами себе...» Другие же (которые кажутся поглупее), тупо уставившись в потолок, нечленораздельно бубнят о том, что, дескать, новые изделия Бека и Мендельсона-Бартольди не в состоянии конкурировать с прославленной фирмой «Эрмен и Энгельс», что фирма «Молодая Германия» им еще не известна, а эта самая, как он изволил выразиться, «Мельпомена» пока ничего достойного рынку не предложила. «Можете не беспокоиться, господин Энгельс,— уверяют эти,— ваша пряжа превосходна...» Каждый из таких «невинных» разговоров доставляет Фреду большое удовольствие и заставляет контору сжиматься от страха и собственного бессилия. Иногда молодой чиновник увлекается и заставляет какого-нибудь недалекого клиента с радостью «вспомнить» о своей «давнишней» встрече с господами Гомером или Донателло из Нижней Саксонии... О! Это уж слишком, и контора шипит на ухо юноше: «Запрещаю вам так бессовестно издеваться над моими клиентами!» Фред победоносно улыбается и лукаво отвечает: «Как видите, мадам, они не страдают от моих шуток. Они даже не понимают их. Кроме того, вы недооцениваете их умственные способности. Согласно «тарифу» Готлиба Рабинера, это люди, обладающие «большим», «проницательным» и даже «английским» умом. Разве это

обстоятельство не подымает их в ваших глазах и не успокаивает вас?» В ответ контора угрожающе рычит и направляет господину шефу рапорт Гутмайера — Бауэра.

Фридрих-старший опускает голову и глубоко задумывается. Что стряслось с его сыном? Почему он так по-мальчишески, непочтительно и вызывающе ведет себя? Неужели открывающаяся перед ним карьера не удовлетворяет и не привлекает его? Разве большая игра с деньгами не разжигает его сердце, не доставляет пищи его фантазии? Встревоженный отец зовет сына: «Что-то не так, Фред, а? Что-то не нравится тебе, огорчает, заставляет сопротивляться...» Положив руку на сердце, сын говорит: «Вы знаете, отец, что я не хочу быть торговцем. Меня привлекают совсем другие, более возвышенные и красивые дела». «Но представь себе, дитя мое,— возражает отец,— придет день, когда ты станешь во главе фирмы. С твоим умом и энергией ты сможешь совершать чудеса...» Фред скептически улыбается: «Может быть, кто-то из моих братьев и рожден для этого, отец. У меня иной жребий. Я хочу творить, нести людям новые идеи, новые мечты...» Разговор продолжается долго и безрезультатно. Отец и сын расстаются огорченными.

«И все-таки я его поставлю на колени!»— думала контора, слышавшая разговор отца с наследником. И война, еще более яростная и ожесточенная, продолжается с новой силой. Фридрих еще молод, очень молод и потому верит, что война скоро закончится. Он не предполагает, что она может продолжаться годы, может занять всю его жизнь. Вот

почему с неистовой яростью он бросается в бой, надеясь на победу. Но, увы, победа оказывается далекой, невероятно далекой, и ровно пятьдесят лет спустя, уже постаревший, Фридрих вынужден будет признать: «Мое «египетское рабство» продолжается!»

Совершенно неожиданно «мадам Тю-тю» оказывается весьма сильным и бескомпромиссным противником, перед которым церковь и училище могут почтительно снять шляпы...

* * *

Чиновничья жизнь молодого Энгельса была бы совсем безрадостна, если бы в нее не вошел один умный и симпатичный господин, который, хотя десятью годами старше нашего героя, умеет мыслить и чувствовать словно юноша — вдохновенно и красиво. Этот господин также работает в торговой конторе, также ненавидит навязанную ему профессию и также пишет стихи. Но в отличие от своего младшего коллеги, он уже имеет громкое литературное имя, издает поэтические сборники и печатается в крупнейших рейнских ежегодниках. Это человек с живой и энергичной натурой, свободно разбирающийся в литературных и политических вопросах. Фреду нравится его открытое, приветливое лицо, обрамленное вьющейся голландской бородой, он с удовольствием слушает его бархатный голос, который всегда привносит в разговор нотку уважения и доверия. Фред с любопытством читает его произведения, следит за их достоинствами и слабостями, спорит о них. Юноше не нравятся многие его экзотически-романтические стихи, перегруженные афри-

канскими пейзажами, бедуинами и львами, тем не менее он уважает милейшего господина, его славу и видит в нем несомненный талант художника, который уже показал свою силу. Господин вошел в жизнь Фреда вполне официально, как служащий соседней конторы, зашедшей справиться о каком-то незначительном деле. Вначале он поговорил с Бауэром, затем с Гутмайером и наконец подал руку новому коллеге и с некоторым смущением скороговоркой проговорил:

— Приятно познакомиться, Фердинанд Фрейлиграт!

Никто в конторе не предполагал, что из этого короткого рукопожатия родится большая и сердечная дружба, которая войдет в историю немецкой политической борьбы. Пока два будущих друга обмениваются первыми любезными словами, Бауэр глазеет в окно, а Гутмайер выдавливает один из многочисленных прыщиков на своем носу. Даже Фридл дремлет и не считает нужным приоткрыть серый глаз, чтобы взглянуть на эту скромную, но великую встречу. Как всегда, контора равнодушна к поступи истории...

Уже на следующий день Фред и Фрейлиграт вместе вышли с работы и провели поистине незабываемый зимний вечер. Рука об руку они медленно ходили по тихим, припорошенным снегом барменским улицам, наслаждаясь сердечной и приятной беседой. Еще в начале прогулки оба решили перейти на «ты» и с радостью обнаружили, что у них много общих интересов и мыслей, что оба любят и ненавидят одно и то же. Фридрих взволнован резким

отношением Фердинанда к вуппертальской действительности, а Фрейлиграт — таким же отношением Энгельса к конторе и чиновничьей жизни. Фердинанд восхищен широкими литературными знаниями юноши, а Фред — обширными литературными планами своего коллеги. Снегу прибавляется, идти становится трудней, но приятели не расстаются, а, держась за руки, продолжают шагать, захваченные горячим и искренним чувством, удивленные схожестью и силой взаимных взглядов. Фердинанд с увлечением рассказывает о своих встречах с Гейне и Бёрном, декламирует стихи Гюго, критикует Бека, осуждает гнусные дела прусской цензуры. Энгельс в свою очередь делится мечтами о будущем рейнской литературы, которая, по его мнению, призвана повести германский дух по новым, неведомым еще эстетическим и гражданским путям. Разговор касается многих тем и наконец постепенно сгущается вокруг нашумевшего в последнее время вопроса об экзотическом начале в новой немецкой лирике. Здесь оба придерживаются различных точек зрения и незаметно для себя переходят к корректному, но горячему спору.

Первым начал Фридрих, который сперва замедлил шаги, а вскоре и вовсе остановился под уличным фонарем. «По-моему, дорогой Фрейлиграт,— говорил он,— этот массовый «арабизм», «отуречивание» нашей поэзии происходит из-за соответствующих тенденций в нашей экономической жизни. Ныне германские фирмы поддерживают более оживленные связи с Алжиром, Египтом и Турцией, чем с Францией, Англией или Италией. Восток изголодался по нашим

товарам, и мы поспешили повязать чалму, ревем, как львы, рисуем золотые ятаганы и пальмы. Случилось так, что немецкая поэзия оказала неоценимую услугу немецким промышленникам и торговцам, наводнившим Оттоманскую империю золингеновскими бритвами и ножницами, а Германию — кальяном, восточными туфлями и экзотическими историями. Немецкому читателю ничего другого не оставалось, как набить свою трубку гашишем, сесть по-турецки и повторять слова Карла Бека: «Я — дикий, неукротимый султан...» А какие же мы «султаны», когда на наших бородах звенят ледяные сосульки, а в руках вместо кривой сабли блестит лакированная тросточка!» Фердинанд тихо засмеялся и тут же заметил: «Сравнение не плохое, Фридрих, но, кажется, немножко преувеличенное. Восток всегда привлекал литературу, и она всегда находила сюжеты в его мудрости и мистике. Еще Вольтер в своем «Кандиде» показал нам, что Европа не должна оглядываться только на Запад, что под шатрами пальм и у арабских волшебников также есть много прекрасного, достойного того, чтобы быть воспетым. Байрон не побоялся отправить своего Конрада, корсара, в объятия Гюльнар, а наш безвременно почивший Вильгельм [1] обрел славу созданием поэтических сказок о багдадском халифе и маленьком Муке. Как видишь, восточная экзотика давно завоевала себе место в серьезной литературе, и мы не должны искусственно изгонять ее оттуда...» Энгельс нетерпеливо махнул рукой: «Я не вообще против экзотики,

[1] Вильгельм Гауф.

милый Фердинанд, но я не в силах больше терпеть непрестанного кутания в белоснежные простыни и вязнуть в песках, что нам то и дело предлагается на страницах новых поэтических сборников. Кажется, что многие из наших поэтов разучились мыслить по-немецки и головы их забиты змеями и скорпионами, турецкими присловьями и арабскими сентенциями. Это нередко встречаешь и в твоих стихах, дорогой друг. Ты так часто тратишь вдохновение на раскаленные пески пустыни, что опасаюсь, как бы преждевременно не иссушил его. Я высоко ценю твой талант и просто страдаю, когда вижу, как иногда попусту растрачиваешь его. Живешь в Вуппертале, служишь в торговой конторе, в наших домах пьешь кофе, а пытаешься при этом выглядеть грозным, разыгрывать «истории со львами», мечешь отравленные стрелы в людей и египетских верблюдов. Разве здесь, рядом с собой, ты не находишь «страшных» тем, которые были бы достойны силы и гнева твоего пера! Неужели наш пиетист или, как ты их называешь, «зеленый дворянин» не страшнее твоих препарированных львов и опереточных шейхов! Подумай, Фердинанд, и ты увидишь, что...» Фрейлиграт не дал Фреду договорить. Он поднял руку и ладонью прикрыл рот юноши. «Хватит, Фред, хватит, дорогой!— В голосе Фрейлиграта послышалась боль.— Ты еще очень молод, чтобы понять мое положение. Должен признаться тебе, что я обратился к экзотике не только по эстетическим соображениям. Со мной дело обстоит несколько иначе, чем с Беком или Дулером, например. Именно потому, что я живу здесь, в этом муравейнике благочестивых и

верноподданных филистеров, мне приходится обращаться к другим темам, чтобы не быть изгнанным из долины Рейна. Даже теперь, когда я прикрываю свои мысли турецкими тюрбанами и львиными шкурами, мне нередко приходится представать перед инспектором Францем и присутствовать при их обнажении. Мы только что говорили о прусской цензуре. Это страшное учреждение следит за каждым моим словом, готовое предать суду и заковать мой язык. Вот почему я не могу говорить и писать свободно, как Гёте или тот же Уланд. Вот почему я прибегаю к аллегориям и посредством их пытаюсь донести до общества смелые идеи. Как бы неправдоподобным это ни казалось на первый взгляд, но смею заметить, что моя поэзия «львов и пустынь» в сущности своей обличительная поэзия. Она как раз направлена против тех, о ком ты говоришь. Когда я пишу об ужасах пустыни, я имею в виду печали нашей долины, а когда заставляю моих львов рычать, я хочу припугнуть ее господ...» Фрейлиграт говорил долго, взволнованно и искренне. Наклонив голову, Энгельс слушал его с интересом и пониманием. «Извини, я не хотел тебя обидеть,— сказал он тепло.— Может быть, в моих словах и было что-то слишком резкое и неприятное. Будем надеяться, что времена изменятся, и тогда ты создашь произведения, вполне достойные нашего нового века». Фрейлиграт согласно кивнул головой, и прогулка по заснеженному Вупперталю продолжалась. В головах обоих барменских чиновников было столько огня, что ночь и холод не в состоянии были погасить его и разлучить их. И только тогда городские куранты пробили двенад-

цать ударов, они удивленно переглянулись и подали друг другу руки. «До завтра, Фред!»— сказал Фрейлиграт. «До завтра, Фердинанд!» — ответил Энгельс. Сердечно расставшись, приятели уходили с роем мыслей, радостных впечатлений и переживаний, глубоким уважением друг к другу. На следующий день Фрейлиграт говорил жене: «Никогда еще, милая Ида, не встречал такого умного и искреннего молодого человека!», а Фред радостно делился с фрау Элизой: «Наконец и в Вуппертале нашелся талант, достойный уважения!»

За короткое время дружба между поэтом и Фридрихом превратилась в подлинное творческое товарищество, в искренний союз мыслей и идей, больших поэтических переживаний. Она помогла обоим сравнительно легко справиться с деспотизмом конторы, возвыситься над ее законами и предрассудками. Благодаря ей Фред вошел в окружение Фрейлиграта, а Фердинанд — в компанию друзей Энгельса. Благодаря ей юноша сблизился с такими умными и энергичными людьми, как учитель Генрих Кёстер и издатель Лангевише, публицист господин Пютман и коллеги Нейбург и Штрюккер. А Фрейлиграт подружился с милыми братьями Греберами, с Вурмом, Плюмахером и Фельдманом. В продолжение многих месяцев оба приятеля встречаются почти каждый вечер, всякий раз испытывая тихую радость и светлую гордость за чувства, которые их связывают. Они собираются либо в доме Фердинанда, где симпатичная фрау Ида неизменно угощает их традиционным липовым чаем и брусничным вареньем, то в редакции «Барменский вестник», где der große

Bär[1] (так называют господина Пютмана) вдохновенно читает им свои радикальные стихи, то в конторе Лангевише, где Нейбург и Штрюккер занимают их своими рассуждениями о современной драме. Фред обожает эти милые, интимные встречи, где каждый говорит то, что думает, и где можно услышать подлинно лирические художественные отрывки и самые язвительные политические замечания. Нередко эти встречи превращаются в маленькие праздники искусств, главными героями которых выступают Ида, Фред, Лангевише и Штрюккер. У госпожи Фрейлиграт чудесный голос, и она великолепно исполняет любовные песни Шумана, особенно когда ей проникновенно и с чувством аккомпанирует Фридрих. Лангевише мастерски владеет флейтой, а Штрюккер отлично читает монологи Гамлета и Фиеско. Иногда в «программе» участвует и Большой медведь, который неожиданно попросит тишины и своим басом негромко пропоет сентиментальный романс Вебера «На берегу, где миндаль в цвету благоухает...». Разумеется, эти домашние фестивали музыки и поэзии совсем не губили творческой сущности компании, которая поддерживалась главным образом обменом художественных идей, живыми и углубленными эстетическими раздумьями. Будучи самым молодым, Фред все же в центре внимания этого общества, его здесь все любят и уважают, всегда с интересом слушают. Никого не задевает его горячее участие в спорах, напротив, все ожидают компетентного суждения молодого человека по тому или иному вопросу.

[1] Большой медведь *(нем.)*.

Обычно просит его об этом нетерпеливый Кёстер, который шумно хлопает в ладоши и громко говорит: «Тише, господа! Послушаем, что скажет по этому поводу дружище Энгельс...»

Фред застенчиво улыбается — ведь здесь присутствуют более зрелые господа, чем он,— но начинает говорить и, увлекшись, забывает различие в возрасте, излагает свои суждения столь же учтиво, сколь и недвусмысленно. «У меня действительно собственная точка зрения на сей счет,— говорит он.— И прошу извинить меня, господа, если мои высказывания будут хотя и не очень резкими, но совершенно категоричными...» После такого краткого предисловия компания затихает, охваченная любопытством. «Здесь,— продолжает Фридрих,— жарко заспорили о проблемах вуппертальской литературы. Господин Пютман отстаивал тезис, что эта литература имеет большое будущее, даже назвал ее «прекраснейшим цветком в рейнском венке». При этом Лангевише многозначительно молчал. Штрюккер и Нейбург отпустили пару сердитых колкостей. А Кёстер, в отличие от них, считает, что истина где-то посредине — между «большим будущим» и «сердитыми колкостями». Только Фердинанд остался вне спора, он стал в позу виновного, который не имеет права обсуждать собственное дело. Кто же все-таки прав в этом горячем споре? Какое мнение следует поддержать, как самое справедливое? Если спросите меня, я ближе к «перцу» Штрюккера и Нейбурга, нежели к «цветам» Большого медведя. Должен откровенно признаться, господа, что я очень невысокого мнения о вуппертальской литературе. Подумайте только,

кто занимается у нас художественным словом? Если не считать присутствующих в этой комнате, большинство среди вуппертальских поэтов — пасторы, богословы и отшельники. Это Карл Август Дёринг, Круг, Иоганн Поль, Монтанус Эремит, Рюккерт и, если хотите, даже его превосходительство Круммахер. Что пишут эти доморощенные гении, зачатые от ангельского крыла и облаченные в черные мантии сатаны? Духовные песнопения и, как они любят говорить, «белые стихи». Вспомните: «О, странница, обратись овечкой, врата рая тесны,— склони главу, молись, чтобы стать овечкой». Это один из типичных шедевров нашей поэтичной долины. Разве подобное может стать цветком в рейнском венке! По-моему, в Вуппертале есть один истинный поэт, это наш друг Фрейлиграт. Если когда-нибудь мне доведется написать о нем, я его сравню с моряком, потерпевшим кораблекрушение и очутившимся среди песчаных дюн вуппертальской пустыни. Да, господа, только Фердинанд может спасти честь нашей убогой литературы. Думаю, излишне разбирать его интересную поэзию после обстоятельных статей Дингельштедта и Карьёра в «Литературном ежегоднике» и в «Берлинской летописи». Единственное, что хотелось бы еще раз пожелать ему, так это не сажать больше своих деревьев на чужой земле. Его превосходный «Принц Евгений» обязывает автора как можно чаще вспоминать, что он все-таки немец с Рейна...»

После подобных высказываний Фреда споры разгораются с новой силой — господин Пютман развязывает галстук, а господин Лангевише осушает кувшин воды. Первый настаивает, что, когда речь идет

о вуппертальской поэзии, нельзя пренебрегать таким значительным талантом, как Фридрих Людвиг Вюльфинг, который, несмотря на свою слабость к прекрасному полу, знает, как «делать» стихи, а второй декламирует целые главы из своей дидактической трагедии «Вечный жид», чтобы доказать, что Вупперталь уже создал «кое-что серьезное и достойное внимания». Вскочив со стула, Кёстер заявляет, что мнение господина Энгельса, хотя оно весьма субъективно, все же представляет интерес для каждого вуппертальского литератора, желающего найти кратчайший путь к истине, а Нейбург и Штрюккер скромно замечают, что дружище Фред очень хорошо выразил их собственные мысли. В конце спора вмешивается и Фрейлиграт, который, хотя и покраснел от похвалы Фридриха, все же утверждает, что время — лучший судья произведений литературы. И тогда в спор встревает фрау Ида, которая без лишних церемоний целует Фреда в щеку и громко сообщает: «Этот мальчик, милейшие друзья, мне очень нравится!» Обычно эти смелые слова кладут конец разногласиям, и мужчины с удовольствием принимаются за горячий липовый чай. Но случается, что эти же слова подливают масла в огонь, потому что, как заметил Фред, к гостеприимной хозяйке неравнодушны все...

Дружба молодого Энгельса с Фрейлигратом и его компанией ввела юношу в гущу вуппертальской литературной борьбы, позволила ему непосредственно наблюдать развитие местных поэтических талантов. Она воздвигла между ним и конторой невидимую, но крепкую стену, которая отгородила его от убийст-

венного однообразия чиновничьей работы, позволила ему сохранить свободу и независимость духа. Конечно же это очень злило контору, и она прилагала все усилия чтобы оторвать Фреда от Фердинанда. Первоначальное ее безразличие сменилось грубой раздражительностью и подозрительностью. Эге-е-е, значит, сын шефа пытается водить ее за нос! Так-так. И Бауэр, и Гутмайер, словно гончие, навострили уши. Проходит неделя, и Фридрих-отец получает подробный донос об опасных связях своего сына с «коллегой Фрейлигратом», который, как это известно господину, имеет весьма свободные взгляды на некоторые стороны общественной жизни. Фабрикант не на шутку встревожен и спешит предотвратить катастрофу. Дымя трубкой, он направляется к Фреду и требует объяснений о его дружбе с этим, как его там, Фрейлигратом. Юноша возмущен грубым вмешательством отца в его личную жизнь и резко отвечает, что господин Фердинанд не какой-то вуппертальский подонок, о котором можно говорить с презрением. «Не ваши машины, отец,— бросает Фридрих,— а стихи Фрейлиграта составляют истинную славу Вупперталя, и потому вы должны с большим уважением относиться к этому человеку!» Фабрикант понимает, что спорить бесполезно, и быстро отсекает: «Желал бы почитать стихи твоего гения, мой мальчик, а тогда вновь вернуться к нашему разговору». Фред сияет от радости, убежденный, что отцу понравятся стихи Фердинанда. Гутмайер и Бауэр многозначительно склоняют головы над своими столами. И на сей раз конторе приходится делать шаг назад...

Возможно, некоторые читатели будут озадачены столь положительным отношением Фридриха Энгельса к поэту и человеку Фрейлиграту. Может быть, они вспомнят его статью «Ретроградные знамения времени», написанную в 1840 году, и его переписку с Марксом, женой Маркса и с Вейдемейером в 1858—1860 годах, в которых Фред критикует и разоблачает мелкобуржуазные уклоны Фердинанда, гневно называя его то «твердолобым филистером Фрейлигратом», то «безвольным ослом Фрейлигратом». Может быть, они вспомнят его письмо к Женни Маркс от 22 декабря 1859 года, которое начинается словами: «На всю фрейлигратовщину я форменным образом зол...» Мы спешим напомнить этим читателям, что действие нашего рассказа развивается двадцатью годами раньше, в те далекие годы молодости, когда между Фридрихом и Фердинандом не было политических разногласий, когда их сближало высокое искусство, и только оно. Тогда Фрейлиграту было всего лишь двадцать восемь лет, а Фреду едва исполнилось восемнадцать; в то время оба они были только поэтами, любившими друг друга и влиявшими друг на друга. Мы просим читателей вспомнить известное стихотворение Энгельса «Бедуины», написанное всецело под влиянием Фердинанда, несмотря на отрицательное отношение Фреда к «поэзии со львами», а также достаточно известное двустишие Фрейлиграта:

Песок и ветер. О воде мечтает пальма в зной,
Так и поэт тоскует о земле родной...

рожденное прямо из мысли Энгельса, что поэт не может создать ничего значительного, «пока он не

сроднится с настоящей немецкой поэзией». Бурные годы взаимных обвинений и обидных эпитетов еще далеко впереди, и поэтому в нашем повествовании Фред и Фердинанд по-настоящему хорошие друзья, питающие уважение и доверие друг к другу. Молодость всегда чиста и великодушна. Среди саженцев не живут дикие звери, а в цветах не бушуют метели...

«Мадам Тю-тю» отлично понимает это и пока загнала свою свору в клетки. Она терпелива и подождет. Пусть саженцы станут деревьями...

* * *

И все-таки контора совершила одно полезное дело. Она ввела Фреда в общество. Это произошло совершенно неожиданно для нее, без всякого старания с чьей бы то ни было стороны. Однажды утром она сказала молодому служащему: «Сегодня вечером торговец Якоб Зигрист из Амстердама устраивает в городском доме прием. Вы будете представлять там нашу фирму. Черный фрак обязателен!» Фридрих удивленно поднял голову. «Возлагаются ли на меня какие-то особые надежды?» — спросил он. «Нужно своей обходительностью,— строго ответила контора,— произвести хорошее впечатление. Особенно на этого господина Зигриста, с которым нам предстоит заключить сделку...» Юноша усмехнулся с чуть заметной иронией. Значит, сегодня вечером на светском рауте его подвергнут всестороннему осмотру и проверке. Ничего не скажешь, занятное дельце предстоит. И, глядя конторе прямо в глаза, Фред проговорил:

— Благодарю, мадам! Постараюсь!

После обеда Фридрих не пошел на работу, чтобы успеть подготовиться к приему. Он помылся, тщательно причесался, привел в порядок ногти. Одеваться ему помогала фрау Элиза, стараясь не помять накрахмаленной манишки и черного фрака, сшитого несколько месяцев назад в Манчестере по последнему слову английской моды. Внимательно оглядев себя в зеркало, молодой господин натянул белые перчатки, сунул под мышку тросточку и отправился в столовую, чтобы представиться отцу. Фабрикант быстро и внимательно осмотрел его с ног до головы еще когда он, сопровождаемый матерью и сестрой, спускался по лестнице и подумал, что это самый красивый из Энгельсов, который когда-либо рождался в их старом доме. Он потер в восторге руками и обратился к жене: «Должен признаться, мадам, вы создали действительно что-то прекрасное!» затем схватил сына под руку, подвел к одному из стульев, торжественно уселся против него и дал несколько банальных, но полезных советов.

— Итак, дорогой Фред,— начал ласково он,— сегодня ты самостоятельно войдешь в светское общество. Можно сказать, это будет первое боевое крещение. Хотел бы, чтобы твое присутствие на приеме сделало незаметным мое отсутствие. Держись так, чтобы все видели в твоем лице истинного Энгельса и хозяина. Забудь, что вчера ты был учеником, и думай, что сегодня ты уже что-то, а завтра будешь всем. Не говори много и без толку, не забывайся, если даже какая-либо молодая дама, прикрываясь веером, многозначительно улыбнется тебе или когда

тебе предложат шоколадный торт. Все должны почувствовать, что ты господин, в кармане которого лежит не только носовой платок, но и тяжелая связка ключей. Думаю, что внешность твоя произведет впечатление, но важно не быть рассеянным и непрерывно следить за собой. Надеюсь услышать утром достойный отзыв о моем сыне и наследнике...

Фридрих учтиво поклонился, что-то невнятное пролепетал в ответ на отцовские наставления и направился к выходу. Там его обняла мать, поцеловала в щеку и нежно шепнула:

— Желаю успеха, Фред!

Как только сын вышел, отец устало опустился в кресло и тихо проговорил:

— В добрый час, коллега!

В парадный зал городского дома Фред вошел без предварительного объявления о прибытии. Почти все гости уже собрались и стоя тихо беседовали, разбившись на небольшие группы у столов и белых мраморных колонн. Юноша легко поклонился собравшимся и направился в центр зала, где находился господин Зигрист, организатор этого строго делового вечера. С важностью стоя между супругой и дочерью, голландец смотрел на приближающегося молодого гостя, явно любуясь его стройной и элегантной фигурой. Фридрих остановился в двух шагах от хозяев, еще раз поклонился и проговорил на чистом голландском языке:

— Имею честь представлять фирму «Эрмен и Энгельс», производящую хлопчатобумажную пряжу и ткани. Приветствую вас от своего имени и от имени

отца, главного акционера фирмы. Позвольте отрекомендоваться: Фридрих Энгельс-младший.

Все Зигристы от удивления широко раскрыли глаза. Обе дамы одновременно произносят восторженное «О-о-о...», а господин коммерсант поспешно протягивает Фреду обе руки.

— Вы превосходно владеете голландским. Позвольте пожать вам руку...

Фред здоровается с коммерсантом, целует руку его супруге и сдержанно кланяется дочери. Очарованная его манерами, фрау Зигрист любезно говорит:

— Вы заставляете меня вспомнить Париж, месье. Приемы в «Пале рояль» и молодых аристократов из Версаля...

Энгельс взглянул на хозяйку, затем окинул взором дочь и ответил уже на французском:

— Две такие прекрасные женщины, как вы, мадам, заставляют быть парижанином...

Фрау Зигрист громко засмеялась, а фрейлейн Зигрист зарделась от смущения. Захохотал и господин Зигрист, который тут же обратился к своему молодому гостю:

— Буду рад, господин, если моя дочь проведет этот вечер в вашем милом обществе.

Фридрих вновь перешел на голландский:

— Благодарю за высокое доверие, уважаемый господин. Надеюсь, что фрейлейн не будет скучать и сожалеть.

И юноша подал руку фрейлейн Зигрист. Пересекая рядом с ней залитый светом зал, он мысленно говорил себе: «Думаю, отец будет доволен!»

Появление Фреда в светском салоне вызвало неожиданное волнение приглашенных вуппертальцев. Среди гостей прокатился общий тревожный шепот, заставивший дрожать маленькие огоньки множества свечей в серебряных подсвечниках. Десятки холеных рук поднесли лорнеты к глазам. Дамы и барышни ахнули от удивления и восхищения, а мужчины поглядывали на все происходящее с нескрываемым недоумением. «На прием без папы и мамы? — шепчут женщины.— О-хо-хо, значит, юноша уже совершенно самостоятелен!», а мужчины острят: «Как видно, старый дьявол пускает в обращение сына. Еще один Энгельс вступает в бой...» И имя Фреда не сходит с уст собравшихся. Благоухающее общество на все лады склоняет его, готовое сжевать, как сочный бифштекс, или обсосать, как лакомую косточку. Это имя — главное блюдо на этом вечере, и любители полакомиться, не церемонясь, занялись «делом». Чихая, кашляя, они перемывали его косточки.

— Надо отдать должное, выглядит он безупречно...

— Отец не дал ему полного образования, чтобы двинуть его против нас...

— Говорят, что знает двадцать пять языков...

— Представьте, пишет стихи и считает, как Пифагор...

— Но мальчишка дружит с Фрейлигратом и Штрюккером...

— Настоящий кавалер, с хорошими манерами...

— Слишком красив, чтобы быть умным...

— Нам нечего опасаться, у нас тоже есть сыновья...

— Пасторы утверждают, что он не порадует отца...

— Похоже, собирается вскружить голову фрейлейн Зигрист...

— Давненько старый Энгельс не наносил такого удара...

Языки мелят вовсю, и по залу идет приглушенный, но довольно сильный шум. То один, то другой прильнет к уху соседа, уши шевелятся, как флюгера, и до Фреда гул докатился в тот момент, когда юная Зигрист оперлась на его руку. Непринужденно улыбаясь, молодой человек предупредительно спросил свою даму:

— Что вы скажете о нашем обществе, фрейлейн?

Девушка окинула взглядом зал и весело ответила:

— Весьма милое общество. Умеет судачить и тем самым, очевидно, забавляется...

На этот раз, несколько нарушая этикет, Энгельс громко засмеялся.

Прием, устроенный господином Зигристом, ничем не напоминал приемы, организуемые барменской общиной по случаю Нового года или пасхи. Это скорее деловая встреча голландского коммерсанта с вуппертальским Гермесом, скрашенная двумя-тремя бальными танцами и несколькими бокалами шампанского. В отличие от других приемов, на нем нет ни бочонков крепкого пива, ни конфетти, ни тостов, ни веселых викторин и лотерей. На приеме царила та самая торжественность, которая нагоняла на дам

тоску, а господ супругов заставляла настороженно прислушиваться и внимательно следить за улыбками и беседами хозяина. В сопровождении юной красавицы Фред переходит от группы к группе, готовый свободно поддержать любой разговор о вуппертальской жизни. Но тщетно. Повсюду его встречают строгие и напряженные лица, шушукающиеся между собой о ценах и пошлинах, учетных ставках и векселях, акциях, страховых и комиссионных. После каждого сдержанного рукопожатия и представления наш герой вынужден внимательно выслушивать сбивчивые рассуждения обеспокоенных торговцев о той или иной сделке, отвечать на их хитрые прощупывающие вопросы. Всякая его попытка уклониться от делового разговора, успокоить господ и развлечь дам встречается с недоверием и едва прикрытым раздражением. «Видим мы тебя насквозь,— как бы говорят дельцы,— хотя ты и стараешься быть непроницаемым...» А те, что понахальнее, безуспешно пытаются уязвить юношу, вовлечь в свои торгашеские разговоры, вырвать из его уст ту или иную деловую тайну фирмы «Энгельс». Но Фред уже не мальчик и с легкостью отбивает атаки своих собеседников, отвечая им шуткой или даже издевкой. «Видите ли, господин Моккер,— говорит он одному из них,— ваш интерес к нашим биржевым возможностям проявлен в весьма неудобном месте. Разве можно на светском рауте обсуждать такие вопросы!» Так один за другим коммерсанты получают легкие, но точные пощечины, которые заставляют их краснеть до ушей, а окружающих посмеиваться над ними, как это делают плохо воспитанные дети. Осо-

бенно хлесткой была пощечина старому греховоднику Найдорфу, который (ради шутки) предупредил фрейлейн Зигрист не шить платьев из тканей фирмы «Эрмен и Энгельс», чтобы не выглядеть Золушкой. Едва Найдорф произнес эти слова, как тут же услышал высокий голос Фридриха, который (также ради шутки) спросил: «Разве ваша супруга шьет платья не из наших тканей, господин?!» Юная голландка, восхищенная находчивостью Фреда, захлопала в ладоши, а фрау Найдорф (ведь она из Золингена) треснула по лысине своего низкорослого мужа и с нескрываемой досадой проговорила: «Дорогой Пауль, ведь ты обещал в этот вечер не стараться быть остроумным!» Так от компании к компании Фред обходил салон со своей очаровательной спутницей, представляя ее самым влиятельным лицам вуппертальской державы. В конце этой долгой и сложной прогулки фрейлейн Зигрист, глядя с восхищением на своего милого кавалера, простодушно призналась:

— Вы необычайно остроумны, господин. Развеселите кого угодно...

Энгельс учтиво склонил голову:

— Я во всем похожу на свою маму, фрейлейн.

— Но иногда вы говорите весьма двусмысленно и не прочь поиздеваться,— продолжала голландка.

Как бы оправдываясь, Фред развел руками.

— Что же делать, милая барышня? Кроме матери у каждого есть и отец...

Невидимый оркестр заиграл старинный рейнский вальс, и Фред пригласил спутницу на первый тур.

Фридрих танцует легко и спокойно, словно всю

жизнь провел на приемах и балах. Дамы и барышни с завистью глядят на счастливую Зигрист, а нахохлившиеся отцы неловко подталкивают своих дубоватых и вспотевших сыновей, взглядом приказывая им последовать примеру их бесцеремонного соперника. Сынки недовольно сопят, с опаской поглядывают на барышень и с досадой думают, что этот выскочка Энгельс ведет себя не совсем честно. И в самом деле, Фред так хорош собой, так строен и не развязно свободен, что любого попытавшегося соревноваться с ним постигла бы неудача. Вот почему смущенные молодые господа приглашают дам на танец поневоле, с неохотой и смущением, забывая, как это положено, поддержать и поцеловать руку своих барышень. Это заставляет публику краснеть и смеяться, а то и неметь от растерянности. Господин Зигрист, надо отдать ему должное, замечает это и тихо говорит своей жене: «Этот молодой человек, мадам, придает нашему приему не совсем желательный для гостей блеск...» Фрау Зигрист, одними глазами следившая за своей дочерью, в задумчивости ответила: «Этот молодой человек, Якоб, подлинное сокровище, с которым ты должен найти общий язык!» — «Что вы имеете в виду, мадам?»— удивленно спросил Зигрист. Супруга лукаво взглянула на него и быстро ответила: «Почти все, дорогой! И наше состояние, и нашу очаровательную дочь...»

Вскоре голландец взял Фреда под руку и уединился с ним в одном из уголков зала.

— Приходилось ли вам, молодой человек, бывать в нашем Амстердаме?— игриво спрашивает он, предлагая юноше бокал шампанского.

— Только однажды, господин,— отвечает Фридрих,—и то с отцом...

— И что вы скажете о нашем старом весельчаке Амстердаме, мой мальчик?

— О! — Фред выразительно подымает плечи.— Вы счастливцы, что живете там!

— А вам не хотелось бы пожить и даже... г-м... остаться в одном из его почтенных домов, мой дорогой?

— Как вам сказать, господин Зигрист,— Энгельс смущенно опустил глаза,— сыновья живут там, где желают их отцы...

— Хорошо, тогда я поговорю с вашим отцом.

— Но вы меня совершенно не знаете,— удивленно воскликнул Фред,— а незнакомый человек все равно что неведомый ветер в море...

— Будьте покойны, милый. Это идея моей жены, а она разбирается в людях.

Энгельс догадался о намерениях фрау Зигрист и посчитал неудобным разыгрывать и дальше эту комедию и роль счастливого и самоуверенного франта.

— Благодарю вас за приглашение, господин,— сказал он,— но не могу им воспользоваться, так как мои планы не совпадают с планами отца. Вскоре я надеюсь уехать в Берлин, чтобы продолжить образование. Хотя торговля славное и достойное занятие, но меня больше привлекает литература и философия. Хотел бы всю жизнь посвятить этим предметам...

Не ожидавший такого поворота в разговоре, коммерсант пытается переубедить юношу:

— Молодость всегда увлекается, гонится за модой, дорогой. Но моды приходят и уходят, а жизнь остается, и прожить ее следует разумно. В этом смысле торговля представляет самые большие возможности...

Фред с горечью улыбнулся:

— Это совершенно верно, господин Зигрист, точно так же говорит и мой отец, но тем не менее я не откажусь от своего намерения. Перу Фрейлиграта я предпочту всех конторских служащих Бармена...

Господин Зигрист удивленно поднял брови.

— Перо Фрейлиграта, говорите? Но это перо, мой мальчик, четыре года скрипело в моей амстердамской конторе. И должен вам сообщить, что никто, даже моя жена, не может разобрать его почерка.

— Фердинанд поэт, господин Зигрист, а не писарь при городском нотариусе!— с нотой раздражения проговорил Энгельс.

Разговор затягивается, и Фред понимает, что нужно его прекратить немедленно, чтобы не доставить неизбежных огорчений своему отцу. Он воспользовался одной из затянувшихся пауз, когда голландец обдумывал свой «очередной ход», и поднял недопитый бокал:

— За ваше здоровье, господин! Пью за процветание вашей фирмы и за счастливое будущее вашей дочери! Обещаю подумать о добрых советах, высказанных вами...

Бокалы весело звенят, и чудесное вино кладет конец неприятной теме. Через минуту Фред вновь принял обязанности кавалера фрейлейн Зигрист, а

господин Зигрист вновь выслушивает какой-то новый хитроумный план своей супруги. Однако на сей раз юноша ведет себя несколько рассеянно, а коммерсант — осторожнее.

«Смотри-ка,— думает Фридрих,— какой неприятный дяденька!»

«Смотри-ка,— думает Зигрист,— какой непрактичный малый!»

Их разговор привлек внимание всех гостей. Телеграф локтей и глаз мгновенно вступил в действие. Он передавал: «Внимание, внимание! В том углу что-то происходит. Очевидно, идут переговоры. Там... договариваются о сделке... там... там...»

«Смотри-ка,— думали многие собравшиеся,— какие нахальные дельцы!»

На другой день весь Бармен оживленно обсуждал успех Фреда. Отцы ставили его в пример своим сыновьям, а матери разжигали честолюбие дочерей. Давно уже конторы и улицы не были так взволнованы, не имели столько благодатного материала для пересудов.

— Ах, как он танцует!

— А как разговаривает!

— Да и хитрец немалый!

— И торговаться мастак!

Языки работают вовсю, готовые поглотить город. Сенсация «Энгельс-младший» — их новое занятие, их новый шедевр...

Но к обеду произошло еще одно событие, которое просто повергло всех в удивление. Господин Зигрист, сопровождаемый супругой и дочерью, торжественно прошествовал мимо конторы «Эрмен и Эн-

гельс» и направился в контору... Найдорфа. Спустя час он покинул ее, унося в кармане договор о крупной сделке. Что за наваждение! Торговая улица онемела от удивления. Отец влетел в контору и, не снимая ни пальто, ни цилиндра, потребовал от сына объяснений:

— Что за номер, Фридрих?

Сын оторвался от бумаг и удивленно пожал плечами:

— Думаю, что мое поведение было безупречным!

— И все же голландец остался чем-то недоволен...— недоуменно развел руками отец.

Фред неопределенно ответил:

— Может быть.

— Яснее, Фред.

— Как бы вам объяснить, отец.— Юноша опустил голову.— Вчера Зигрист предложил мне переехать в Амстердам, работать в его фирме и весьма недвусмысленно дал понять, что рука его дочери свободна. Я счел это предложение недостойным для меня и невыгодным для вас, а посему отверг его. Может быть, причина в этом...

Старый Энгельс медленно опустился на стул. Присутствовавшие при этом разговоре Гутмайер и Бауэр окаменели.

— Надеюсь, отец, что на этот раз вы такого же мнения?..

Как бы разбуженный голосом сына, фабрикант глухо простонал:

— Да, Фридрих, на этот раз, и впервые, я вполне согласен с тобой...

С того вечера Фридрих Энгельс стал равноправным членом вуппертальского общества. Его шумный дебют (несмотря на неприятную историю со сделкой) широко открыл двери и объятия самых солидных семей в округе. В каждом семействе был сын (которому не лишне поучиться) или дочь (которая может попытать счастья). В Вуппертале уже не проходит ни одного торжества, куда бы не был приглашен Фридрих и где бы он не привлекал восторженного внимания и зависти «зеленых дворян». Едва сняв ученический сюртук, он уже господин, представитель торговой фирмы, человек с авторитетом и положением. Сначала старый Энгельс относился с некоторым недоверием к шумному успеху сына и даже приказал Бауэру и Гутмайеру смотреть за ним в оба, но со временем убедился, что он поистине достоин уважения. Имя Фреда не сходит с уст торговой улицы, и это ласкает слух отца, разжигает его сокровенные надежды. Он начинает верить, что суета и честолюбие окажутся сильнее его трости и сделают свое дело, что умный юноша, нюхнув славы, в конце концов пойдет по пути торговых битв, отправится в большой поход за златом. Иногда господин Энгельс так далеко залетает в своих мечтах, что, прикрыв глаза, начинает рисовать в воображении самое блестящее будущее своего наследника, то есть своей фирмы. В такие минуты он видит, например, как фабричные трубы Бармена подымаются в два раза выше таких же труб Дюссельдорфа и Золингена, как фирма «Энгельс и сын» (а не «Эрмен и Энгельс») становится монополистом в Париже, Берлине, Вене, Петербурге, как он, хотя уже и очень старый,

но все такой же гордый и величественный, объезжает биржи и дворцы Европы словно подлинный монарх текстильной промышленности. Фантазия буйно разыгрывается, и фабрикант уже видит, как к солидному имени его деда сын прибавил благородное «фон Вупперталь», как фамилия Энгельсов обзаводится своим родовым гербом и торжественно вводится в сонм рейнских графов и прусских баронов. «...И будет прекрасно, мадам,— часто говорит он жене,— если наш внук также будет назван Фридрихом и если имя Фридрих Энгельс войдет каким-то образом в историю...»

К подобным мечтаниям старого Энгельса фрау Элиза внешне относится с детской серьезностью, в глазах же прыгают тысячи смешливых дьяволят. У нее конечно же собственные представления о будущем Фреда. Подобно фабриканту, она польщена успехами сына и видит, что этот чудный и умный юноша, все еще называющий ее мамочкой, безусловно станет блестящим кавалером и коммерсантом, по-настоящему мужественным человеком. До ее чутких ушей доходят сотни комплиментов, сотни «ахов» и «охов», которые подсказывают ей, что ее любимое чадо зажгло сердца многих дам и дамочек, что в самых различных домах вуппертальские барышни вышивают его милое имя на своих изящных пяльцах. Добрую мать это одновременно радует и тревожит, ведь она-то знает, как льстивы и коварны бывают женщины, как необузданны их стремления, насколько беззастенчивы они в достижении своих целей. Вот почему мать всегда начеку, рядом с Фредом, готовая предостеречь его от ловко подстроен-

ной западни или необдуманного шага. Только она одна знает, как чисто сердце Фреда и как внимательно нужно его поддерживать на скользком пути первых успехов. Вот почему фрау Элиза не обольщается комплиментами, которыми осыпают ее сына, и неустанно внушает ему, что истинная красота мужчины не в холеном теле, а в открытом и добром взгляде на жизнь, что подлинное обаяние молодого человека в его искренности. Подходя к зеркалу, она учит Фреда сомневаться в его объективности и любезности, напоминая ему, что это дьявольское изобретение житейской суеты никогда не говорит всей правды о тех, кто встает перед ним. «А ты, миленький,— говорит она сыну,— нуждаешься только в правде, в настоящей и большой правде о себе и окружающей жизни!» Так, сама того не подозревая, фрау Энгельс вступает в молчаливый поединок с фантазиями господина Энгельса, став одним из серьезнейших препятствий на пути к их осуществлению. В отличие от супруга, она стремится укрепить духовное начало в своем сыне, вырвать его из когтей Гермеса и отдать в руки Аполлона. Она всегда хотела, чтобы ее сын посвятил себя какому-либо серьезному интеллектуальному занятию — науке или искусству — и тем самым осуществил бы давнишнюю мечту ее предков о новом Гегеле или новом Гёте. Она часто зовет Фреда к себе и подробно расспрашивает о его последних занятиях, просит почитать ей стихи или поиграть на клавесине, с интересом рассматривает его веселые рисунки. В этих встречах с сыном мать проявляет настоящее дипломатическое искусство, все свое обаяние и интеллект, сознавая, что ведет

борьбу за будущее своего Фридриха — этого великолепного мальчика, который, как говорит Гутмайер, доставляет немало забот и хлопот и... шефу...

Но пока отец и мать мечтают, строят планы, ведут битвы, наш дорогой Фред живет, просто живет... Попав однажды в водоворот света, он все глубже проникает в него, поражаясь царящим там интригам, обилию плоских анекдотов, удивляясь его глупости и ограниченности. Сначала Фридрих смущен сплошной посредственностью, которая окружает его, но постепенно свыкается с этой угнетающей серостью и принимается в упор изучать манеры и психологию ее достопочтенных носителей. Он встречает их почти ежедневно в тесных конторах и пропахших нафталином гостиных, облаченных в свои черные сюртуки и восточные халаты, неряшливых, озлобленных, циничных, неспособных пошутить или породить какую-либо достойную человека мысль, совершить пусть небольшой, но добрый и умный поступок. На всю жизнь он запомнит их обрюзгшие и ленивые тела, лопнувшие швы их одежд, лживые хищные глаза, с одинаковой силой впивавшиеся в цифры торговых счетов и обнаженные плечи женщин. Уже несколько месяцев подряд Фред вынужден слушать их скучнейшие разговоры, которые (если это днем) обычно вертятся вокруг сделок или (если это вечером) вокруг какой-нибудь юбки и достигают кульминации, когда речь заходит о лошадях (если это в Бармене) и собаках (если это в Эльберфельде).

Да, уже несколько месяцев подряд молодой человек все больше убеждается в убийственной огра-

ниченности самых видных вуппертальских буржуа, чья патриотическая добропорядочность уживается с кодексом Наполеона и ловко проскальзывает сквозь щели всех его статей (торговля превыше всего!), чья начитанность, как правило, ограничивается одной-двумя книгами Поль де Кока и Иоганна Нестроя. Он в ужасе от интеллектуальной беззаботности этих господ, которые не имеют ни малейшего представления о новых идеях века, о стремительных духовных вихрях, проносящихся над Рейном и Одером, а посему болтающих самые несусветные глупости о современной немецкой культуре и ее талантливейших представителях. Для них «Молодая Германия» — это «тайный союз демагогов», которые хотят отнять власть у бога и короля, а поэт Генрих Гейне — «кровожадный еврей», причащающийся христианской кровью. Они не способны понять, а поэтому ненавидят любую глубокую мысль, любой вдохновенный порыв человеческого сердца и возводят в культ собственное убожество, нахально заявляя, что оно не мешает им ловко щелкать на конторских счетах. Для них все — абсолютно все! — подчинено кресту и мошне, вернее, мошне и кресту, наживе и силе — этим двум стихиям, которые соединяют воедино человека и сатану, дьявола и бога. Вот почему, сидя в их шумных компаниях, Фридрих испытывает такое чувство, будто он находится среди людей далекого средневековья, когда темнота человека возводилась в достоинство, а глупость — в благодать. Он видит, что в такой компании невозможны духовный рост и облагораживание, нет места для тонкой игры интеллекта и сердца, что здесь каждая философская и

эстетическая концепция встречаются в штыки, с явным недоверием, с враждебным ворчанием и фырканьем в кружевные платочки. Это отталкивает и подавляет нашего молодого человека, вызывает в нем тяжелые внутренние конфликты, делает его саркастичным, сердитым и даже обозленным.

Медленно, но верно в нем подымается гнев против всех этих важных, но тупых господ, против их сынков и дочек, слуг и сутенеров, шутов и услужающих. Гнев, который определяет все поведение юноши и, неожиданно прорываясь, словно гром, сотрясает все вокруг. Поначалу Фред пытался подавлять свой гнев, управлять им, но, чем ближе знакомился с «миром дворян», тем труднее становилось ему владеть своим сердцем, сдерживать свой сарказм и ненависть. Все его здесь раздражает, оскорбляет и подавляет, поэтому он никому ничего не прощает, не считаясь с тактом, заставляет дрожать сытых господ, собирающихся посплетничать за карточной игрой или незаметно подремать в семейной компании.

Его свободно высказываемые мысли, словно осы, жалят господ, заставляют их нервно вскакивать с кушеток, в бессильной ярости скрежетать зубами, угрожающе ворчать. И вскоре, вопреки своим выдающимся качествам и личному обаянию, сын старого Энгельса начинает пугать и раздражать окружающее его общество. Застоявшееся, а теперь потревоженное болото досадует, потому что ущемлено его честолюбие. Вокруг Фреда смыкается кольцо молчаливого отчуждения, учтивой, но холодной подозрительности, вылезающей из всех углов, исходя-

щей из любого жеста и взгляда. Правда, это нарастало исподволь, крайне осторожно (кто же не знает могущества его отца!), но все же сопротивление становилось все более явным и решительным. Умному, но малопрактичному юноше, всегда готовому поднять в разговоре ту или иную «неприятную» тему, все чаще и чаще показывают спину. Поведение молодого господина (этой тонкой, но острой булавки, как называет его Бауэр) становится нетерпимым. Так конфликт с конторой неизбежно перерастает в конфликт с обществом. Контора всего лишь частица, клеточка торгового мира. Она только начало начал. И всякий, поднявший на нее руку, покушается на все сущее... Скоро Фред в этом окончательно убедится...

Но пока отец и мать мечтают и строят планы, Фридрих живет... просто живет...

В «холодной войне» с обществом молодой Энгельс встречает самых разных противников. Одни сражаются грубо и бесцеремонно, как настоящие хищники, уверенные в своей силе и праве. Это крупные собственники, хозяева, представители «солидных семейств». Другие нападают подло, из-за угла, стараются укусить незаметно, они трусливы и ненасытны подобно стервятникам. Это представители служилой публики, мелкие чиновники и малоудачливые посредники. А третьи стоят в стороне, притворно пожимают плечами, а при удобном случае подставляют ножку, влияя тем самым на исход битвы. Это наследники господ, те, которые боятся огрызаться — берегут зубы для пережевывания пищи. Фред самоотверженно сражается со всеми

противниками, нанося точные удары то направо, то налево, выбивая зубы, ломая когти. Салоны шипят от возмущения и стонут от боли. В этом сражении молодой еретик не признает ни милосердия, ни снисхождения, принуждая противную сторону отступать, припирая ее к стенке, требуя извинения или, будто шутки ради, поднять руки и посмеяться над собой. Это особенно касается «третьих», недорослей, сверстников Фреда, которые со страхом подкарауливают его, чтобы подставить ножку. Он с охотой разделывается с этими мальчишками, топчущимися возле накрытых столов или бильярда, обладателями хилых мышц и потных рук. Обычно они жмутся поближе к своим папашам, обмякшие и смешные, едва втиснутые в свои фраки и узкие брюки, с толстыми задами и открытыми ртами, неловкие, тупые и к тому же ленивые. Стоят и слушают разговор или зевают, глазея по сторонам, оживляясь лишь тогда, когда какая-нибудь мадам Соварж или фрау Найдорф начнут во всеуслышание распространяться о своих приключениях. От всякого обращенного к ним взгляда или задушевной улыбки сыночки втягивают головы и смущенно хлопают глазами, заливаясь предательской краской. И эта краска, и напускная важность, и темные пробивающиеся усики, дающие им право рассуждать на фривольные темы,— все это делает их ужасно смешными.

В схватках с этими полуюнцами-полумужчинами Фридрих дает волю своему остроумию и мастерству, чтобы в споре поставить своего противника в смешное и неловкое положение, напрочь повергнуть его. Он никогда не нападает первым, так как знает, что

это вызовет ярость хищников (то есть отцов) и осложнит положение, направит его удары не в ту сторону. Как правило, инициативу он предоставляет им, дает возможность покуражиться, как бы почувствовать свою силу и безопасность. Фред знает, что, прежде чем подойти к нему, сынки были настропалены отцами, незаметно для окружающих получили немало тычков в ребра и спины, чтобы выглядеть повоинственней, напутствованы громкими фразами и ядовитыми намеками, научены самоуверенности и коварству. Вот почему Фред спокойно ожидает их первой атаки, давая им возможность выговориться, исчерпать все свои запасы аргументов, доводов и обвинений, и лишь тогда начинает дубасить их по мозгам и нервам. Иногда он даже притворится повергнутым, чтобы затем неожиданно «нокаутировать» противника. Конечно, Фридрих строит тактику в зависимости от направления и содержания спора. Если сынки поддели своими рогами какой-то политический или литературный вопрос, то наш герой встречает их с распростертыми объятиями, готовый играть с ними, пока ему не надоест. Это царство принадлежит ему, и все зависит от его собственного настроения и активности. Другое дело, если на рогах развевается какая-либо религиозная догма или торгово-экономический трактат. Тогда Фред предельно осторожен и воздвигает крепкую баррикаду, так как знает, что все собравшееся общество следит за каждым его словом, готовое обрушить на него свое проклятие. В первом случае разговор идет шутя, он перемежается веселыми каламбурами, скрашивается изящной иронией Фреда. Во втором, наоборот, разго-

вор напоминает сражение, в котором страсти и ожесточение пытаются взять верх над разумом. Жизнь молодого Энгельса полна таких «легких» и «трудных» разговоров, которые заставляют сынков (это самое паразитическое население Вупперталя) корчиться в муках от бессильной ярости.

Не ручаясь за протокольную документальность, попытаемся воспроизвести один из «трудных» разговоров. Убеждены, что он не только один из многих, но и вполне типичный в биографии нашего юного героя.

На этот раз «случай» нас привел в гости к мистеру Эриху. У этого вуппертальского американца, который, если вы помните, совершил одну из грандиознейших торговых афер в долине, надув фирму господина Мюллера и прибрав денежки сэра Джонатана Грейва, сегодня большой праздник. Мистер Эрих отмечает совершеннолетие своего сына, и весь его дом разукрашен бумажными гирляндами и разноцветными фонариками. Двери всех комнат раскрыты, и через них протянулась длинная лента столов, у которых собрались все известнейшие и богатейшие люди Вупперталя. Рекой льется вино и пиво, а оркестр, доставленный из самого Мюнхена, непрерывно играет веселую мелодию песенки: «У маленького Гуго выросла борода...» Гости оживленно болтают, подымают тосты и глазами ищут «маленького Гуго», то есть сына мистера Эриха, чтобы принести ему свои поздравления. Но, увы, виновника торжества не оказывается за столом, и отец, озадаченный исчезновением сына, волей-неволей сам принимает поздравления. Уже целый час он, краснея от сму-

щения и тревоги, безрезультатно его ищет. Мистер Эрих прежде всего человек порядка, и все, что нарушает его нормальную жизнь, вызывает в нем гнев и в высшей степени неприятные мысли. Вот почему сей момент он встревожен и рассеян — из головы не выходит сын и его непочтительный поступок. «Куда запропастился этот тупоголовый осел?» — думает торговец и приказывает слугам незаметно пошарить под столами, чтобы отыскать его следы. Тем временем, зная крутой нрав своего супруга, миссис Эрих делает все возможное, чтобы успокоить его, нашептывая ему на ухо, что их Джек, их «маленький Гуго», совсем не плохой мальчик и сейчас наверняка где-нибудь поблизости, совсем рядом, быть может, в своей комнате или в комнате... О, ведь он уже мужчина! Тем не менее шепот миссис Эрих не подымает настроения хозяина, и он продолжает поиски своего бесследно исчезнувшего наследника, который очень хорошо знает, что комнату служанки можно посещать только вечером и когда отца нет дома. Гости замечают неловкое положение хозяина, и по столам ползет густой и липкий шепоток, заглушающий шум ножей и вилок.

А в это время «маленький Гуго», то есть мистер Джек, в самом деле находится поблизости, совсем рядом с гостями, не подозревая о скандале, вызванном его отсутствием. Он на верхнем этаже, в правом крыле дома, в бильярдной комнате, где собрались почти все приглашенные на праздник молодые люди. Сию минуту он наклонился над бильярдным столом и целится в белый шар, который должен покатиться по зеленому сукну и забить в лузу красный шар, за-

ставив того, с другой стороны (а тот, с другой стороны,— это наш Фред), признать себя побежденным. Столпившись возле стола, молодежь с затаенным дыханием ожидает исхода поединка, ободренная удачной игрой молодого Эриха. Но последний удар Джека неточен, и белый шар, попусту прокатившись от борта к борту, остановился точно против кия Энгельса. Послышались недовольные голоса разочарованных болельщиков. Пропал последний шанс победы над господином Фридрихом-младшим. Мистер Джек уже восьмой игрок, который вынужден капитулировать перед этим элегантным чемпионом бильярда. И в самом деле, Фред великолепным ударом заканчивает игру, послав в лузы два разноцветных шара. Джек бросил полированный кий на стол и злобно прошипел:

— Вы невозможны, Фридрих! Когда, наконец, мы увидим вас побежденным?..

— Когда перестанете играть со злобой, дорогой Джек,— невозмутимо ответил Фред.— Бильярд — это все-таки игра, а не сражение. Честолюбие парализует ваши руки. Все вы играете со мной, как со своим врагом. Вы стремитесь побить меня, чтобы унизить. А этого я вам никогда не позволю...

— А вы что же, господин, хотите, чтобы мы вас за приятеля принимали? — грубо возразил один из компании.

— Вы непрерывно ставите нас в неловкое положение. Вы вчера опять танцевали с работницами Рауэнталя и пренебрегли приглашением фрейлейн Петтерссон посетить ее бал. Разве это не отдаляет вас от нашего круга!

Энгельс понял, что сражение неизбежно, и с вызовом проговорил:

— В отличие от вас, нелюбезный Якоб, я только танцую с бедными девушками, в то время как вы щупаете их и тащите в кусты. Для вас они не более чем подопытные животные, на которых вы проверяете свои мужские качества, в то время как для меня они такие же девушки, как и все другие...

Какой-то прыщавый пузан прервал Фреда:

— Подождите, подождите, господин Фридрих, неужели вы хотите, чтобы мы целовали руки этим... и водили их в свои спальни?

Фред с презрением посмотрел на прыщавого, поднял руку, чтобы прекратить непристойный смех.

— Видите ли, господин толстяк,— с издевкой сказал он,— прежде чем говорить о женщинах, вы должны сбросить свое сало. Разве вы не видели себя в зеркале?

Удар молниеносно ошеломляющий, и в бильярдной воцарилась гробовая тишина. Все повернулись к толстяку, словно видят его в первый раз, а он, мгновенно вспотев и густо покраснев, едва смог промямлить:

— Это неслыханно, господа! Это оскорбление... Я подам в суд на этого господина, да, да... в суд...

Ответ Энгельса следует сразу же:

— Делайте что хотите, господа... Но если я предстану перед судом, вы лишитесь доброго имени в обществе. И не только вы... Там я расскажу о «подвигах» вашей веселой компании, которая добивается успеха либо большими деньгами, либо грубыми угрозами и запугиваниями. И если бедные девушки

позволяют вам что-нибудь, так это не из-за ваших достоинств, а ради все того же куска хлеба. Разве вы можете сравниться с их ребятами? Каждый из них без труда одной рукой одолеет любого из вас. Попробуйте мускулы друг у друга, и вы убедитесь, что я прав. Все у вас как бы сделано из ваты, и вы не можете привлечь внимание женщины. Один тур обыкновенного вальса утомляет вас... Да что там говорить...

Гневные слова Фреда хлещут молодых господ. И они посматривают друг на друга, обескураженные и разъяренные. Злоба иссушила их уста, перехватила глотки, и они готовы наброситься на своего обличителя, выколоть ему глаза, разорвать на куски. Наконец Энгельса прервал мистер Джек, первым овладевший собой.

— Меня удивляет ваша грубость, Фридрих! — сказал он.— Вы забываете, что находитесь в моем доме, и обижаете моих гостей...

— Прошу меня извинить, мистер,— и Фред чуть-чуть наклонил голову,— но вы видели, что меня вызвали на это.

Все задвигались, кто-то громко крикнул:

— Что с ним церемониться! Да он не из наших...

Бильярдная наполнилась глухим ропотом, ругательствами, визгливыми угрозами. Энгельс, переждав гам, ледяным тоном, сквозь зубы проговорил:

— Никогда не обольщался мыслью быть «вашим», господа. Я действительно овца не вашего стада...

Нелюбезный Якоб презрительно усмехнулся:

— В Париже уже был один граф, который

отказался от богатства, титула и вел борьбу против своих...

— Да, был, господин Якоб! Его имя — Анри Сен-Симон. Возможно, моя судьба будет схожей с его...

Мистер Джек развел руками и сделал шаг к Фреду:

— Но, дорогой Энгельс, зачем вы взваливаете на себя такую тяжелую ношу? Что вам мешает чувствовать себя «нашим», какой вы в конце концов и есть? Разве ваш отец не живет и не дружит с нашими отцами?.. Разве вам недостает уважения или вы беспокоитесь за свое будущее?..

Фридрих поднял голову и медленно обвел всех взглядом. Лица давно знакомые и хорошо известные. Он знает, что начатый разговор почти бесполезен. Вряд ли эти маменькины сынки, эти завтрашние дельцы способны понять его порывы! И все-таки он чувствует, что должен высказаться, обязан ответить, разъяснить им наконец со всей прямотой, что отделяет его от них.

— Как вам объяснить, господа,— голос его резко раздавался в тишине,— вопрос этот большой и сложный. Мне понятны ваше недоумение и ваша ярость. Во мне вы видите вероотступника, человека, который не дорожит своим происхождением. Я сознаю, что являюсь плохим сыном и еще более плохим вашим приятелем. Но что поделать, не могу быть другим... Еще в детстве я возненавидел профессию и дела отца. А это ведь дела и ваших отцов. В отличие от меня, вам нравятся их занятия, и вы готовитесь их продолжить. В этом ваше предназначение, и оно вполне устраивает вас и, более того, делает

счастливыми. Со мной все обстоит иначе. Я совсем не хочу стать фабрикантом, торговцем или даже комиссионером. Моя жизнь в книгах. Некоторые из вас бывали в нашем доме и видели их. Я стремлюсь к совершенствованию духа, к постижению красоты великих мыслей и глубоких чувств. Без сомнения, это будет нелегким делом. Надо много учиться, читать, чтобы что-то познать. И должен вам признаться, я занимаюсь почти непрерывно, сутками напролет. Вы считаете литературу несерьезным делом, потерей времени. Для меня же, наоборот, она источник мудрости и совершенства. Мне становится скучно, когда я слушаю ваши разговоры о сделках, лошадях и собаках. А вы переминаетесь с ноги на ногу и ковыряете в носу, если я пытаюсь ввести вас в мир поэтических видений. И тут нет ничего удивительного, господа. Просто мы разные люди. Хотя мы имеем одинаковое происхождение, нас разделяет глубокая пропасть. Разве так уж важно, где ты родился и кто дал тебе имя? Нет, важнее другое — о чем ты думаешь, что волнует тебя и для чего ты живешь. Кто сказал, что происхождение обязательно определяет призвание и духовную жизнь человека?! Разве пример с упоминавшимся уже здесь графом Сен-Симоном не говорит об обратном? Титулы не всемогущи, они не всегда в состоянии сковать мысль, изменить природу. Так что пусть мое имя и мое происхождение не вводят вас в заблуждение... Ваша жизненная задача неизмеримо легче, господа. Вы должны идти по стопам отцов, продолжать их дела и повторить их роли. Моя — намного сложнее и дьявольски трудная. Я должен не только

отойти от отца, но и проложить в жизни свою тропу. Это как раз то, что и разделяет меня с вами, превращает в вашего недруга и антипода...

Слова Энгельса приводят в растерянность молодых господ. Как всегда, он заставляет внимательно слушать. Уже никто не шумит и не кричит — все в его магической власти. Один только Джек все еще петушится, пытается возражать, возбужденно утверждает, что Фридрих не прав, что он находится под влиянием идей тех самых простолюдинов, с которыми дружит, что его рассуждения об отсутствии связи между происхождением и призванием человека совершенно произвольны и неосновательны...

— Вы правы, мистер,— быстро ответил Энгельс,— даже в большей степени, чем можете предположить. Иначе как можно объяснить этот не совсем приятный спор. Вы только что говорили о простолюдинах и их идеях. Но давайте уточним: кого вы подразумеваете под простолюдинами? Рабочих? Служащих?..

— Их, конечно, но и еще кое-кого...— с кислой гримасой проговорил молодой Эрих.

— Смелее, смелее, Джек! Уточните этих «еще кое-кого»...

— Ну и уточню, господин Энгельс, если вы этого так хотите. Хотя бы вашу пишущую братию из компании Фрейлиграта и «кружка любителей современной драмы». Назовите хотя бы одно имя из этой среды, которое заслужило бы наше искреннее уважение... Да все это голь перекатная, питающаяся крохами с нашего стола. Что бы собой представлял хотя бы известный Фрейлиграт, если бы не было та-

кого благородного хозяина, как господин Зигрист. Я уже не говорю о таких господах, как Нейбург и Штрюккер, этих обыкновеннейших и, даже хуже этого, чиновниках... Как видите, разница между вашими друзьями и рабочими не так уж велика. И те и другие живут за счет кассы наших отцов...

— Довольно, мистер!— Фред резко взмахнул рукой.— Наконец вы швырнули камень, который держали за пазухой. Теперь можем говорить в открытую... Как я и подозревал, мир и людей вы рассматриваете только с точки зрения их финансовых возможностей. Деньги, по-вашему, это все. Они придают величие имени, лежат в основе авторитета и добродетелей. В этом отношении вы идеальнейший представитель своей среды, и благочестивый Вупперталь вполне может гордиться вами. Но это, разумеется, не значит, что вы оригинальны. Ровно сто лет назад саксонец Рабинер составил остроумнейшую таблицу, по которой определялись умственные способности в зависимости от количества денег. Если поверить этой таблице, Джек, у вас «проницательный ум», так как ваш отец обладает капиталом в пятьдесят тысяч талеров. Но согласно этой таблице, многие господа, которых я вижу здесь, не могут похвалиться ни «большим», ни «тонким» умом — не хватает содержимого их касс. Вот до какого совершеннейшего абсурда доводит такое механическое уравновешивание денег с человеческими достоинствами. Я никогда не соглашусь с этим, никогда не смогу подобным образом поступать, и не стоит сердиться на меня за это. Тут мы никогда не сойдемся, навсегда

останемся противниками... Я, дорогие господа, оцениваю людей по их умственным и моральным качествам, а не по их мошне. Поэтому и отдаю предпочтение вечеринке в Рауэнтале перед балом у фрейлейн Петтерссон. Умный труженик намного интереснее глупого богача. И какое значение имеют деньги, когда речь заходит о гораздо большем, чем холод официальной любезности. Верно, что хижины наших ткачей не имеют ничего общего с домами, в которых мы живем. Там нет белых покрывал и лакеев. Нет этих оркестров и бильярдных. Нет фраков и кринолинов. Но там я нашел нечто гораздо большее, чего никогда не смогу забыть и что меня обогатило духовно. Там, уважаемые господа, я познакомился с сокровищами немецких народных сказок, немецкими танцами, немецким остроумием. Там я впервые услышал, как звучит наш народный язык, сколько потрясающе страшного можно рассказать на этом языке. Там я понял, что значит искренность и непосредственность в отношениях между людьми, сколько ума и красоты могут скрывать иногда жалкие лохмотья. Вас это, видимо, мало интересует. Ведь здесь нет ничего общего с вашим «финансовым мировоззрением». Но, как я уже говорил, я не являюсь подданным вашего царства. Оно походит на клетку и слишком тесно для меня...

Разговор коснулся деликатнейшей и роковой области. Энгельс ведет его так бесцеремонно и смело, что даже хитрый Джек теряет надежду изменить его ход. «Черт его побери,— думает он,— неужели никто не может заткнуть глотку этому профессору? Ты, Якоб, или ты, Шмунд!» Увы, все молчат, открыли

рты словно ошарашенные, и Фред расправляется с ними как ему нравится. Мистер Эрих беспомощно оглядывается, готовый уплатить сто талеров тому, кто отобьет атаку Энгельса. Неужели это так трудно, господа! Ну же, друзья, прошу вас, даю сто талеров! Целых сто талеров! По лицу Джека сбегает струйка пота. Никто не возражает. Все слушают. Это же отвратительно...

Наконец лицо молодого Эриха осветила надежда. Дверь бильярдной с треском распахнулась, и чей-то запыхавшийся голос громко позвал:

— Здесь ли мистер Джек?.. Вас просят сойти вниз... к гостям...

Это спасение. Джек повернулся к двери и с явной поспешностью ответил встревоженному слуге:

— Благодарю тебя, Фердинанд! Сейчас же иду...

Спустя минуту в бильярдной остался один Энгельс. Он взял полированный кий, натер его острый конец мелом и один начал гонять тяжелые костяные шары. Фред любил эту спокойную и точную игру — мягкое зеленое сукно широкого стола, на котором рука его создавала сложнейшие комбинации линий и кругов, целый мир невиданных фигур. Сколько фантазии и прелести в этой бесплотной живописи! Сколько свободы!

Белый шар, метеором пролетев по сукну, толкнул красный...

Ни один разговор, вроде только что воспроизведенного, никогда не оставался без последствий. Возбужденная молодежь пересказывает о нем отцам, и пересуды, словно призраки, витают над вуппертальской землей. Они проникают в окна домов и двери

контор, ошарашивают их рабов, заставляют толстяков прицокивать языками, грубо ругаться и сопеть подобно моржам. В конце концов после долгих скитаний по улицам и домам пересуды достигают цели — ушей господина Энгельса-старшего...

Излишне описывать чувства гнева и страдания, которые вспыхивают в сердце гордого старика. Мы уже не раз слышали раскаты его могучего баса и не раз видели его тяжелую трость. Но теперь сын стал достаточно взрослым, чтобы спасовать перед пустым окриком, подзатыльником или поднятой палкой. Человек, покоривший Вупперталь своими машинами и несгибаемой волей, беспомощно стоит перед упрямым юношей, который по какой-то иронии судьбы получил право называться его сыном. И последние надежды фабриканта рушатся под тяжестью страшнейших фактов, следующих один за другим и убедительнейшим образом подтверждающих, что в голове Фреда поселился сам дьявол, что в ней бродят самые невероятные, а главное, опасные мысли. Впервые в жизни старый Фридрих утратил сон и заставляет по ночам притихший дом считать его тяжелые шаги. Взявшись одной рукой за сердце и держа в другой массивный трезубый подсвечник, взлохмаченный и опечаленный, погруженный в тревожные и мрачные мысли, он мерит шагами из угла в угол свою просторную спальню. Свернувшись в клубочек на краешке широкой постели, фрау Элиза молча следит за этой бесконечной гамлетовской «прогулкой», за мельканием зловещих теней по мебели и стенам комнаты. Она ничего не говорит супругу, так как знает, что тот не любит выслушивать советы, и

понимает, что на этот раз он действительно переживает адские муки. Уже много месяцев подряд муж ни о чем не говорит и только вздыхает. Энгельс-отец ищет пути к спасению Энгельса-сына...

И вот на исходе одной из длинных ночей фабрикант резким движением ставит подсвечник на стол. Эхо шагов замирает. Во дворе завывает ветер, время от времени хлопающий деревянными ставнями окон. Отец на секунду задумывается и протягивает руку к гусиному перу, торчащему в чернильнице. Фрау Элиза понимает: решение принято.

— Да, мадам,— глухо отзывается супруг,— я нашел выход. Мое решение хотя и может показаться жестоким, но оно справедливо. Подготовьтесь к близкой и продолжительной разлуке с Фредом... Пусть послужит сын подальше от дома, с чужими людьми, в чужой конторе. Надеюсь, это поможет ему освободиться от вредных идей, покоривших его... Видимо, вуппертальский климат скверно сказывается на его характере...

Зарывшись лицом в подушку, мать тихо плачет...

На другой день старательный Гутмайер заносит в книгу регистрации исходящих бумаг запись об отправке заказного письма в Бремен. Тяжелый пакет с двумя восковыми печатями адресован лично его превосходительству господину Генриху Леопольду, саксонскому консулу, владельцу экспортной фирмы по торговле корабельным канатом в Америке...

Ничего не подозревая, Фред принял пакет от Гутмайера, поставил на конверте печать фирмы

«Энгельс» и вместе с другими письмами отправил его с почтовым дилижансом в Дортмунд.

Через три дня, всего лишь через три дня, письмо будет в Бремене!..

* * *

Знакомство с миром торговой улицы, контор и собственников — первый шаг Фридриха-младшего в познании общества. Вторым шагом было знакомство с миром фабрик, рабочих, с миром городского предместья. Оба шага были сделаны почти одновременно, и юноша сразу увидел и рай, и ад Вупперталя. Из блестящих салонов Гемарке и Нижнего Бармена он тут же попадает в лачуги Рауэнталя. После рассуждений о могуществе денег он слышит разговоры о творимых из-за них преступлениях. Едва покинув школьную скамью, Фред сталкивается с загадками жесточайшего социального конфликта, бросившего в его сердце первые семена сомнения...

Мы уже знаем, кто ввел молодого человека в салоны Гемарке и Нижнего Бармена. Это сделал отец, повелевший собственной конторе «бросить его в сражение».

Но кто направил Фреда в мрачные трущобы Рауэнталя? Что за сверхъестественная сила повела его через грязь тесных улочек и заставила постучаться в первую попавшуюся хижину бедняка? Может быть, это случайность или простое любопытство? Или жажда приключений? Нет, не будем предаваться самообману! Согласившись с одним из таких предположений, мы лишь станем на путь банальных упрощений, который конечно же никогда не приве-

дет нас к истине. Интерес, проявленный Фредом к Рауэнталю,— результат несравненно более сложного процесса. Вот почему мы должны искать ответ не где попало, а в сущности самого этого человека, в самых потаенных глубинах его характера, в его безграничной душевности. И разумеется, в тенденциях эпохи. Там, и только там, мы обнаружим ту силу, которая взяла юношу за руку и повела в мир страданий и нищеты, в самую преисподнюю капитала. Хорошо известны воспоминания членов семьи Энгельса, которые рассказывают, что Фридрих был очень отзывчивым и щедро раздавал бедным свои небольшие сбережения. Несмотря на свою скудость, эти воспоминания убедительно подтверждают, что наш герой имел очень добрый, благородный характер, отличался большой сердечностью, которые не могли оставить его безучастным к трагедии простых людей. Именно эти его качества дают нам ответ на поставленный выше вопрос. Фред тянулся к прокопченным фабричным предместьям не по принуждению чьей-то злой воли или грубого интереса. Туда его влекло собственное сердце и сама эпоха, сильно звучавший голос его совести. Чисто эмоциональным и нравственным путем (это ведь самый верный путь к истине!) молодой Энгельс пересекает социальную границу, разделявшую два вуппертальских мира, и оказывается перед величайшим противоречием своего времени. На первый взгляд во всей этой истории есть что-то необычное и даже абсурдное. Один молодой богач решил попачкать туфли. На самом же деле здесь нет никакой ошибки и ничего абсурдного. Поступок молодого человека вполне логичен, он полно-

стью соответствует его пониманию мира и людей. Фридрих Энгельс-младший ищет ответы на множество вставших перед ним вопросов. Он человек, желающий счастья для людей. И разве грязь в состоянии остановить его! Ведь он ищущий человек!

Появление Фреда на улочках Рауэнталя вызвало там сенсацию. Вуппертальская беднота не могла поверить, что богатейший в округе наследник серьезно заинтересовался ее бытием и ее страданиями. С каждого двора, из каждого наполовину заклеенного бумагой окошка на Фридриха устремлены удивленные и недоверчивые взгляды, медленно ощупывающие его великолепную фигуру и силящиеся отгадать тайну столь высокого посещения. Весть о его появлении облетает трущобы, и вскоре около Фреда вырастает толпа оборванных и голодных людей. Они с почтением сняли шапки и молча идут за ним. Юноша смущенно оглядывает эту невероятную демонстрацию ввалившихся глаз и ревматических суставов, эту страшную шеренгу испитых лиц и рахитичных тел и, сам не замечая того, с почтительностью снимает шляпу. Впервые в жизни молодой Энгельс видит столько бедных и измученных людей, так явно и беспощадно проступающую человеческую обездоленность. Впервые в жизни он чувствует себя неудобно в элегантной одежде и ищет способ как-то спрятать, стушевать ее модные линии. Фреду кажется, что все это сон, что он попал в какой-то неведомый и несуществующий мир, а все, что он видит вокруг, какая-то нелепая шутка, какое-то зловещее проявление фантазии. Да разве могут быть в действительности эти истощенные и печальные дети, эти

покалеченные и парализованные старики, эти бледнолицые девушки с выпавшими зубами и впалой грудью. Разве в Вуппертале, этом прибежище «благочестивых отцов» и «райских добродетелей», могут существовать такие ужасные картины, которые заставляют человека опускать голову и краснеть за свое собственное благополучие? Фридрих чувствует, как горят его щеки, как на лбу выступила испарина, как руки его машинально отыскивают в карманах монеты, чтобы предложить участникам этого стихийного шествия. Сразу же к нему тянутся десятки рук, и будто во сне он слышит слова мольбы, сливающиеся в один общий стон, в рыдание нищеты и голода. Фред вывернул карманы и остановился смущенный, растерянный, не зная, что сказать этим несчастным, чем их утешить, что им пообещать. Он наверняка сбежал бы от своего бессилия и стыда, если бы к нему не подошел изможденный старец с одним глазом и, тыча своим посошком, строго не спросил: «Кто вы, молодой господин, и что вас привело сюда?» От неожиданного вопроса или, может быть, тона, которым он был задан, юноша смутился еще больше и ответил медленно, запинаясь: «Я Фридрих... то есть я старший сын господина Энгельса, деда, и... как бы вам сказать... пришел к вам просто так... без особого дела... по зову сердца...» Старец удивленно поднял голову. «Не ослышался ли я, ваша милость?— быстро спросил он.— Вы назвались сыном старого Энгельса. Значит, вы внук Иоганна Гаспара-младшего, бывшего когда-то нашим хозяином. Не так ли?» Фред утвердительно кивнул головой. Старец приблизился к нему, подал

трясущуюся руку. Постепенно смущение Фреда рассеялось, и он вновь зашагал по улочкам Рауэнталя, ведомый за руку изможденным и одноглазым Вергилием...

Первое посещение квартала бедняков продолжалось долго, и Фред вернулся домой поздно, усталый, в перепачканной одежде, переполненный мрачными впечатлениями. На вопрос мадам Элизы, где был, он ответил глухим голосом, тяжело махнув рукой:

— Я и сам не знаю, мама. Если спросите мое тело, оно скажет вам, что было в Рауэнтале. А если душу, то она ответит, что была в аду...

Со временем молодой Энгельс станет часто наведываться на «грязные улочки», и они свыкнутся с ним. Он станет их «добрым знакомым», и они будут принимать его со всей искренностью своего трагического существования. Хорошо изучив их сложный лабиринт, Фред будет ходить по нему в самые различные часы дня и ночи, проникая все глубже в море социальных страданий. После каждого посещения этих улочек юноша ближе подходит к истине, что общество организовано несправедливо, что мир контор держится на плечах обитателей лачуг. Он посещает фабрики, где «люди вдыхают больше угольного чада и пыли, чем кислорода», своими глазами наблюдает страшную работу машин, этих черных чудовищ, производящих больше муки и отчаяния, чем пряжи и тканей. Он бывает у ткачей-надомников, которые, согнувшись над станками, «иссушают свой спинной мозг у жаркой печки», и воочию убеждается в отупляющей роли эксплуатации, ее духов-

ном и физическом варварстве. Он бывает в многочисленных кабаках, где пьянствуют так называемые Karrenbinder[1], «люди совершенно деморализованные, не имеющие постоянного крова и определенного заработка», и с ужасом констатирует, что Вупперталь полон горемык, деклассированных типов и алкоголиков. Он заглядывает в мастерские ремесленников, где мастер почти всегда читает Библию... а иногда с хором подмастерьев затягивает духовную песню, и наяву видит всю ложь и позор дела пиетизма, который в сочетании с машинами, домашними станками и самогонкой доканывает хороших рабочих людей. Да, Фред бывает повсюду и видит все. Он проникает в самые темные уголки вуппертальской нищеты, скапливая в своей душе все дантовские страдания. После каждого путешествия в эту страшную действительность наш герой становится все более мрачным и замкнутым, он все более ожесточается, часто запирается в своей комнате и ни с кем не общается, его снедают острые, словно удары орлиного клюва угрызения совести. Целыми неделями Фридрих живет как бы во сне, забыв все свои давно устоявшиеся привычки, толстые книги, поэтические видения. Клавесин и шпага покрылись пылью, на столе валяется сломанное перо, а окно закрыто тяжелыми бархатными портьерами. Комната никогда не была такой тихой и печальной, да и ее хозяина никто раньше не видел таким расстроенным, сокрушающимся, несчастным. Красота ее померкла, забилась

[1] Выражение, аналогичное русскому «крючники», «грузчики».

в углы, она смущена и обескуражена, окончательно уступив место новой демонической силе, пришедшей извне, прилепившись к одежде и сердцу юноши. Эта сила не имеет названия (может быть, это сомнение или, точнее, прозрение), но это не помешало ей завладеть комнатой и на все бросить свою тень. Она расселась по стульям, расположилась на всех предметах, забралась в постель и принялась творить громкий суд над наивными представлениями и пустыми добродетелями. Она принудила молодого человека рассечь свое сердце, чтобы найти чистый жемчуг истины. О, как мучительно это бескровное рассекание, заставляющее мысль корчиться от боли! Сколь нестерпимо это отделение правды от лжи, это собственноручное оперирование сознания, ищущего ответы на все неясные вопросы! Но Фридрих уже не маленький, и боль его не страшит. Он с мужественной непоколебимостью взваливает на себя тяжкий жребий «рассечения» и день за днем, неделя за неделей начинает расчищать путь к «жемчугу»...

Несколько торопливо исписанных листов, дошедших до нас, показывают развитие этого адски тяжелого труда «по расчистке» сознания, который начался с отдельных констатаций и впечатлений и завершился созданием обобщающей панорамы социальных противоречий в Вуппертале. На них оставлены заметки Фреда, сделанные после каждого его возвращения из Рауэнталя и других рабочих предместий. В своем роде это достовернейший «дневник» его первого проникновения в мир нищеты и бесправия. Документальный очерк о его первой встрече с социальной проблемой.

В нем говорится:

«Среди низших классов господствует ужасная нищета, особенно среди фабричных рабочих...»

«Сифилис и легочные болезни настолько распространены, что трудно этому поверить...»

«Из пяти человек трое умирают от чахотки...»

«В одном Эльберфельде из 2500 детей школьного возраста 1200 лишены возможности учиться и растут на фабриках...»

«Из фабрикантов хуже всех со своими рабочими обращаются пиетисты...»

Точно через год после того, как сделаны эти наброски, с номера 49 гамбургского журнала «Германский телеграф» публикуются без подписи знаменитые энгельсовские «Письма из Вупперталя». По какой-то странной логике судьбы Фред дебютировал в литературе не как поэт, а как публицист. В эту первую свою публикацию юноша ввел дословно процитированные выше заметки. Это придало ей необычную глубину и, что важнее, непосредственность, вызвавшую подлинную бурю среди прогрессивных кругов рейнской общественности. Публицистика также волнует, если она искренна...

Но прежде чем попасть на страницы «Телеграфа», некоторые из указанных уже заметок попали в руки... отца. Перечитав их несколько раз, старый фабрикант решил, что его сын дошел до последней стадии безрассудства. Разве это мыслимо, чтобы кто-то из Энгельсов, причем наследников, занимался такими никчемными исследованиями! Где это видано, чтобы простой смертный сомневался в справедливости неба! О, этот своенравный юноша

совсем уже забылся! И как был в халате и сапогах, господин Энгельс, накинув плащ, приказал кучеру ехать прямо в контору.

— Быстрее, старина, быстрее!— торопил он.— Не жалей лошадей! Галопом через весь Бармен! Сегодня твой хозяин встретился с самим дьяволом...

Спустя десять минут отец попросил выйти Гутмайера и Бауэра, изнутри запер дверь на ключ и приказал «дьяволу» стать к стене.

— Я хочу задать тебе несколько вопросов, Фред. Требую ответов точных и правдивых.

— Слушаю, отец!— с улыбкой смущения проговорил сын.

Фридрих-старший скрестил под плащом руки. Закутанный в его тяжелые складки, он походил на следователя времен первой империи.

— Это твои записи, господин Энгельс?

— Да, папа.

— Когда ты ходил в Рауэнталь и другие подобные места?

— Месяца полтора тому назад...

— С какой целью, позвольте узнать, сэр?

— Хотел посмотреть, как живут некоторые люди, папа...

— Ну, и?..

— Посмотрел.

— Что именно посмотрели, милорд?

Фред понимал, что отец взбешен, и потому решил встретить его наскок со всем достоинством, на которое только способен. Он знал, что через минуту старик разбушуется подобно урагану, и призвал на помощь всю свою волю.

— Посмотрел на что-то страшное, папа!

— Ну, и?..

— Посмотрел другое лицо жизни... видел обратную сторону медали... улицы, залитые грязью и нечистотами, сырые подвалы, переполненные больными. Детей поденщиков. Людей без глаз, без рук, без зубов. Девушек, продающих свою честь. Церкви, забитые юродивыми и вдовами. Кабаки, где предлагают только водку. Вереницы безработных, умирающих под заборами... И над всем этим, отец, видел трубы ваших фабрик. Их дым и пар. Посмотрел...

Отец резко поднял руку.

— Подожди, милейший господин! И что же ты решил после всего этого?

— Я просто потрясен!

— Спрашиваю, что же ты решил, Энгельс-младший?

Юноша посмотрел старику в глаза.

— Никогда не вставать на ваш путь, папа! Никогда...

Плащ падает на пол, и сапоги ступают прямо по нему. Хотя «дьяволу» уже восемнадцать, он все еще не уверен, что разговор закончится мирно...

Гнев старого Энгельса продолжался бы еще долго, очень долго, если бы в один прекрасный майский день на стол Гутмайера не лег тонкий синий конверт, пришедший из Бремена. Хитрый чиновник внимательно оглядел его, обнюхал своим длинным носом и отложил в сторону от очередной почты.

Письмо адресовано лично шефу...

Вечером господин Энгельс-старший радостно сообщает мадам Элизе, что его превосходительство

Генрих Леопольд, саксонский консул, готов в начале июля принять их сына на службу в свою контору. Это известие, словно удар, поразило мать. Случилось то, чего она больше всего боялась. Фред, ее дорогой Фред, должен уехать...

Новость приводит в смятение и самого Фреда. Для него она совершенно неожиданна и ужасна. Но он старается не показать своей растерянности. Отец не должен получить никакого удовлетворения. Поэтому юноша как можно сдержаннее замечает:

— Уж если вы так решили, отец, пусть будет по-вашему...

Через месяц Фридрих Энгельс-младший почтовым дилижансом едет в Дортмунд. Одетый в скромный дорожный костюм, он стоит у окна старого купе и окидывает прощальным взглядом вуппертальскую землю. В его глазах блестят слезы...

Впервые в жизни Фред один отправился в дорогу...

Человечество, встречай его! Он отправился к тебе.

Эпилог

...Бороться за свободу, пока мы молоды и полны пламенной силы; кто знает, окажемся ли мы еще способными на это, когда к нам подкрадется старость!

Фридрих Энгельс

ТЕПЕРЬ, когда поставлена последняя точка в этой скромной повести, хочу вам сказать, зачем я ее написал.

Рискуя разочаровать кого-нибудь, отвечу прямо.

Написал для всех тех, которые не забыли, что они были юношами.

Написал и для тех, которые сейчас переживают эту прекрасную пору.

Ибо, дорогие мои, и гении обычно начинают, как юноши.

Как говорил наш милый знакомый доктор Филипп Шифлин, никто на этой грешной земле не родился сразу с бородой Гуса...

СОДЕРЖАНИЕ

Продев, Стефан.

П78 Весна гения. Опыт лит. портрета. 2-е изд. М., Политиздат, 1970.

328 с. с илл.

1-1-3 / 10-70 3К16 + И(Болг.)

Технический редактор *Е. Каржавина*

Сдано в набор 13 марта 1970 г. Подписано в печать 11 июня 1970 г. Формат 70×108 1/32. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 14,88. Учетно-изд. л. 11,74. Тираж 100 тыс. экз. Заказ № 3296. Цена 82 коп.

Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Кодированный оригинал книги подготовлен на печатно-кодирующем устройстве «Север-2». Набран на линотипе-автомате «Н-10».

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.

